

Михаил Генделев

ВЕЛИКОЕ [НЕ]РУССКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ГЕН



Михаил  
Генделев  
ВЕЛИКОЕ  
[НЕ]РУССКОЕ  
ПУТЕШЕСТВИЕ



проза еврейской жизни





Михаил Генделев  
Великое  
[не]русское  
путешествие

*Составление,  
подготовка текстов  
и комментарии  
С. Шаргородского*



{книжки}

Москва 2014

УДК 821.161.1

ББК 84(5Изр)

Г34

Издательство благодарит Давида Розенсона,  
без которого создание этой серии  
не было бы возможным.

*Серия основана в 2005 году*

Оформление серии А. Бондаренко

11490  
1 МЕЛ / 1

ISBN 978-5-9953-0336-7

© М. Генделев, наследники, 2014

© «Книжники», издание на русском языке, 2014

ТОМ ПЕРВЫЙ

ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ  
ПУТЕШЕСТВИЕ



*Венедикту Ерофееву*



# ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Михаила Генделева,  
санкт-петербургского  
стихотворца  
и  
полкового  
врача  
Армии обороны Израиля,  
правдиво изложенное им самим  
в  
тринадцати  
книгах,  
собранных в три тома,  
содержащих:  
пространные описания разнообразных приключений,  
викторий, афронтов, авантюр и поединков  
автора и героя,  
а также  
подробнейшие  
хроники  
стихийных бедствий, политических катаклизмов  
и чудесных знамений  
с присовокуплением  
бесчисленного множества

М И Х А И Л   Г Е Н Д Е Л Е В

новейших открытий по разным предметам знания,  
как то:

геополитике, ксенопаразитологии,  
этнографии, арифметике, натуртеологии,  
прикладной эсхатологии,

русскому языку

et cetera

вкупе

с

прорвой

каких-то рекомендаций, адресов, поучительных историй,  
пророчеств, исторических анекдотов, галантных тайн, песнопений,  
писем, дат, снов, толкований последних, документов и фактов,

украшенных

сходственными портретами прекрасных дам,  
героев, государственных мужей, простолюдинов, философов

и

портретом автора

с приложением

государственных секретов, планов, миниатюр и

рецепта действенного бальзама от любви

к женщине, родине и литературе,

то есть сведения, совокупно бесценные

для всех, желающих посетить

некоторые отдаленные части света.

## ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

...Уж не знаю как вы, дамы и господа персонажи, — мы, мы всецело и всегда за «соблюдайте чистоту» изящной словесности от низкой прозы.

Или — или!

Котлеты отдельно, мухи отдельно.

А то начинается — уйдет жена от литератора — бац! «Да куда ж это ты, Елена? Как же это я без тебя, Леночка?! Твой Э.». Не успел попасть под авто — дежурная теодицея...

Мы — против. Мы за беллетристику как слеза. Причем слеза не застывшая, но отмывающая взгляд, брошенный вдогон журавлю достоверности в небе плача и причитаний:

Я часто думаю: меня  
Не жалко. Жалко Потехня.

Теперь попробуйте возразить нам, что искусство есть отражение реальности. Дерзните,

осмелитесь только. Опровергнем: нет! То есть: да! Искусство есть отражение реальности искусства. Реальности искусства отражение. Так что руки на одеяло, герои!

Кроме того, реальность, она как хочет, так и там и отражается. Невзначай отразится:

На мир подлунный глянешь без прикрас —  
и на тебе! Чайковский — пидарас... —

невзначай не отразится.

Нет! нас не интересует сомнительный сиюминутный успех у черни, не манит, и все! Наши образцы: «Одиссея», «Путешествия Гулливера», «Как реорганизовать Рабкрин» — нетленные образцы наши.

Посему: все, что вы прочтете, — наглая ложь. То есть — и тем самым — честная и благородная правда нашей жизни, господа персонажи!

Донельзя нам с коллегами обрыдли экивоки — мол, «ни один из героев никогда не существовал в действительности»... Дудки! В нашей с вами, дамы и господа, действительности, мы очень даже существовали.

Вольно ж вам дуться, персонажи, не случайно сходство с прототипами...

Мы — не от мира сего.

Мы другой крови — ты и я.

Мы — другой коленкор. Мы воображения полет вкупе с генеральным героем М. С. Генделевым.

И автором, он тоже ни-ког-да, он полет и игра прихотливого артиста.

Мы все фуфу. Чистый вымысел чистого разума:

На то, что нету, нету в жизни смысла, —  
отличная есть рифма — «коромысло».

И еще. Понятно, никакой Генделев в Россию не ездил. Выезжать выезжал, въезжать — ни-ни ногой. Во-первых, его, доктора Генделева М. С., нет на белом свете (смотри выше!), он, извините, — герой, во-вторых, кто б его пустил в СССР, в-третьих, ни малейшей России не существует в природе — вообще — вот уже одиннадцать лет, как на родине живем. Спокойно, так что, так что не психуйте, дамы и господа, — все враки.

Привожу пар экзампль пример: завалиющий французик из Годо. Урожденный, безусловно, еврей, но с волонтарным (перевод иноязычных текстов, толкование выделенных курсивом темных мест и примечания на странице 303), конечно, израильским гражданством, и — поехал в Бордо. Есть о чем писать? О чем читать, глаза утомлять? Нету о чем писать, нету о чем читать, глаза б не глядели.

С тем  
якобы Генделев Михаил Самюэльевич,  
10 дня месяца ава 5748 года, заря.  
Афула, государство Израиль.

# КНИГА ПЕРВАЯ

## СКАЗАНИЕ

### О ШАЛВЕ-ПИЛИГРИМЕ

Если праздные люди почему-либо покидают родину и отправляются за границу, то это объясняется одной из следующих причин: Немощами тела, Слабостью ума или Непременной необходимостью.

*Лоренс Стерн.*

*«Сентиментальное путешествие»*

#### ГЛАВА ПЕРВАЯ,

*в которой Шалва встретил рифмоплета  
с лицом осеннего отлета*

Как нефтяным ливнем, облит Шалва натуральной хулиганской кожей от — прославленного среди тех, кто понимает, — великого Дома — от тельавивского Дома «Бегед-Ор». И не скрипели кожи при передвижении маленького, крайне активного организма Шалвы в пространстве Бухарестского аэропорта — нет! визжали предсмертным поросычьим визгом штаны его, причем буколика усугуб-

лялась стуком копытц, оправленных в кинжальные тexasские сапоги со шпорами. Короче. Шалва выглядел очень сильно; страницы же описания его законной донны утеряны нерасторопной машинисткой при перепечатке.

О количестве собственных чемоданов с богатыми дарами Шалва был осведомлен, но был осведомлен приблизительно. Его половина, кантовавшая оные чемоданы, утверждала, что — пятнадцать. В то время как старшая дочь, выполнявшая в компании ту же неблагодарную роль, что маршал Бертье в зимнем походе несчастливого Буонапарте, — дочь-квартирмейстер Стелла знала, что чемоданов — четырнадцать, а что шестнадцать — так это *аба* хвастается.

Как бы то ни было, семейство Шалва при штандарте с примкнутыми багинетами шло через таможню Бухарестского аэропорта, и незыблемо, как ей и положено, покоилась только пирамида шалвинных чемоданов, в тени которой и подвернулся Шалве Михаил Самюэльевич Генделев, странствующий сочинитель стихов и поэт, чье отчужденное выражение лица, скачущий впереди семейства Шалва, по запарке и врожденной ненаблюдательности, принял за — покойное величие персоны, Которая Знает Все.

Тем более что поэт уже дал два, как оказалось, исчерпывающих ответа на два животрепещущих вопроса Шалвы. Конспект:

*алеф*: хватит ли Шалвиному папе, который, конечно, прилетит обнять сына на транзитной станции Москва-Шереметьево-2, что лежит при торной дороге Лод (государство Израиль) — Кутаис (Грузинская ССР, *Русия*), хватит ли папе 15 (прописью в скобках — «пятнадцати») тысяч рублей, чтобы оплатить государственный таможенный налог Союза Советских Социалистических Республик, буде таковой предъявлен, «потому что 5 (в скобках — “пять”) видео вэзу друзьям по армии? э?..»

— Хватит, — ответил Генделев.

*бет*: спрашивается: будет ли встречать Шалву Алка Пугачева, с которой Шалва большие друзья с тех пор, как водил советскую канарейку и весь ее гастролирующий коллектив по веселому Тель-Авиву и «самасшедшие дэнги вложил — нэ жалко?..»

Михаил Самюэльевич ответил:

— Канэшна.

Но не списывайте на пресловутую генделевскую бессердечность, халатность и легкомыслие эту кажущуюся оскорбительной лапидарность, эту почти лакедемонскую краткость ответов поэта. Побочное выражение лица осеннего отлета, которое доверчивый Шалва принял за тертость в деле передвижения по трассе «Иерусалим–Ленинград», было не чем иным, как отражением

совсем иного душевного состояния, поддающегося описанию лишь в буддийских терминах, из которых самым цензурно переводимым было бы samadhi.

Известный поэт, чьи неотложные и невеселые обстоятельства требовали немедленно личного присутствия в городе Ленинграде, поэт — только что перенес налет оравы румынских авиатаможенников, с точностью необычайной воспроизведших набег Идолища Поганого на струги торговых гостей князя Владимира Красно Солнышко.

ГЛАВА ВТОРАЯ,  
*где движет недвижимость странника  
самой судьбы мохнатая рука*

— Сувенира, — доверительно сказал то ли сержант, то ли полковник — кто их звезды считал! — и вытянул из сумки поэта везомые в подарок колготки.

— Сувенира, сувенира, — закивал, заискиваяще улыбаясь, Генделев.

— А, сувенира, — сказал довольный полковник и сунул колготки в свой, даже не вспучившийся, карман. После чего вытащил из сумки вторые колготки.

— Сувенира? — уже уверенный спросил он. Генделев растерялся. И от растерянности забыл

все, чему учили его иерусалимские доброхоты на предпоездочном инструктаже. Он зашипел и, запустив по локоть руку в галифе военного дана, вытянул экспроприированное назад.

— Нет сувенира! Ноу, но, нон сувенира! Нет не сувенира, зис из сувенира, вебрь проклятый!

И, лихорадочно наскребя по сусекам крохи инструктажа, протянул таможеннику пачку «Мальборо». («Что я делаю! Я пал! Это же подкуп...» — промелькнуло что-то белое на берегу и махнуло рукой его отплывающему сознанию.)

Вебрь одобрительно взял пачку сигарет, потом медленно вытянул из слабнувших рук Михаила Самюэльевича бесконечный какой-то, шелковистый, лунатический всхлип колготок, мгновенно, как всосал, втянул их в кулак и уже безвозвратно швырнул в пучину кармана.

— Да, сувенира, — сказал он назидательно.

«Но пассаран, но пассаран», — жалобно, как лист кленовый, планировала, кувыркалась и ложилась на крыло седеющей голове Генделева единственная твердо известная поэту романская фраза. «Но пассаран»...

— Да, сувенира! — повторил налетчик, уже приглядываясь к комплекту егерского белья, назначенного в подарок отцу поэта. Генделев оглянулся.

«Один, всегда один», — подумал он. И тогда тошный взгляд его встретился с легкими, невинными глазами другого погромщика, на погонах

которого лучилась уже просто Большая Медведица в полном составе. Генералиссимус таможни располагал. Располагал он симпатичным своим лицом, напоминающим Леонида Ильича Брежнева в период восхода карьеры. Сходство и расположение усиливались и орденом на груди приятных пропорций — как груди, так и ордена. Бандит представлялся личностью почти харизматической.

«Судьба!» — подумал поэт.

— На сувенира! — ринулся он к доброму разбойнику. И сунул пачку «Мальборо» в ловкий хобот Леонида Ильича. — На!

И судьба в лице начинающего генсека улыбнулась. Судьба сделала длинный шаг к зарвавшемуся коллеге, молча отпихнула бандита погоном, застегнула сумки и, по-бурлацки ухнув, орденосно поперла поклажу — мимо таможни.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

*о том, как выкупил еврейское добро  
Джон Черчилль, первый герцог Мальборо*

Таким образом, багаж почти нецелованным поплыл в аэроплан, а телесная оболочка Генделева осела в тени циклопического зиккурата из чемоданов Шалвы, где, как оказалось, уже успела ответить на два животрепещущих вопроса. А когда цвета и звуки начали подлизываться к сознанию поэта, он

обнаружил перед своим лицом шевеление золотых пятен, до него донесся топ, звон бубенцов и цок копыт, что при врубе аккомодации и настройке звука определилось и (наплыв!) осмыслилось, как пляска святого Витта, исполняемая невероятно златоглазым, -зубым и -волосым карликом-грузином при жене и шпорах. Через батальный лязг наплечников и набедренников, сквозь звоны, по-над сполохами зайчиков на броне, сквозь битву даков с иберами прорубился к уму и сердцу поэта даже не смысл, но клетот-клич на иврите-русском-грузинском с использованием ненормативной лексики идиша и арабского языков, донеслась невнятица такой тоски и силы, что Генделев прислушался — и вник.

А вникнув, испытал этическое неудобство, некий зуд, эдакое щекотание совести, что-то вроде морального расчеса, стыд за нелюбезность свою, за бесчеловечность, за, прямо так и скажем, хамство ответов своих и вельможное безразличие к боли ближнего. И тогда он внял ближнему.

А внявши, понял — беда.

Беда состояла в том, что чемоданов у Шалвы оказалось не

пятнадцать, как думала его верная дура-жена, не шестнадцать, как помышлял пылкий и склонный к фантазмам Шалва, и не

четырнадцать, как знала практичная дочь-квартирмейстер красавица Стелла.

Чемоданчиков было — восемнадцать.

Восемнадцать, цифра роковая, запомни ее, читатель, — восемнадцать.

Один в один, восемнадцать гиппопотамов натуральной гестаповской кожи, качеством соизмеримой только с кожами вздорных шалвинских джинсов.

Восемнадцать спокойных чудовищ, до неподвижности обожравшихся электроникой, тряпками, часами, парфюмерией и забывших дышать от внутреннего напряжения.

Восемнадцать мест ручной клади.

А можно — 12 чемоданов (двенадцать чемдн.), отнюдь не восемнадцать.

По два на рыло, включая малюток дочерей Ору, Яэль и несмышлениша Ционку, тоже обещавшую со временем стать красавицей; шесть лишних, с позволения сказать, чемоданов — это уже беда, а если еще лишний, с позволения сказать, вес, то есть овервейт на жаргоне румынских авиацыган, пустяки, каких-нибудь 980 кэгэ, не тонна же! — но при цене шесть долларов США за каждый кэгэ лишнего груза, что в пересчете составляет (... ..) *кус има шелахем, ма-ньяким*, как справедливо заметил Шалва, ибо это уже была настоящая беда, и она смотрела в лицо по-эту нестерпимо золотистыми влажными очами.

И — взывала.

К чести Генделева. Но к чести Генделева ни разу, нет, ни разу с темного дна, из бездны подсознания, где болтался мотивчик «Мальбрук в поход собрался», не поднялась — плохо, кстати, лежащая на этот мотив — формула «а ну его в жопу. С его чемоданами».

Нет. Израильтянин в беде! Мог ли Гражданин, Сионист, Врач-Армии-обороны-Израиля, Поэт Военной Темы — не прийти на помощь? Не мог. «Мальбрук в поход собрался»? Мальбрук... дюк... Мальборо! Вот оно, ключевое слово! Он, герцог, имени которого табачное изделие работает сезамом социалистической таможни цыганской республики Румыния.

«Мальборо!» — страшным хриплым голосом пифии выговорил Генделев и раздул клубук. Пляска святого Витта, исполнявшаяся Шалвой, сменялась огнями святого Эльма, зажегшимися — и забытыми погаснуть — в золотых глазах еврео-грузина. Весь он, похожий на вставшую на дыбы взвизгивающую галошу, замер от восхищения и перестал звенеть шпорами.

Миг, но вечность — и взасос, всеми порами кож своих Шалва впитывал сладостный яд змеиной, шипящей, двусмысленной идеи поэта, впитывал с раздвоенного его языка. И миг — но вечность: мановением:

под сень чемоданов был призван необходимый орденосец, уже несущий на отлете хвата-

тельные отростки, и — — — было установлено, что (пачка «Мальборо») никакого (еще пачка) лишнего (еще две пачки) веса (очень много пачек «Мальборо») у Шалвы и его семьи (почему-то еще одна пачка) нет, а об овервейте даже смешно говорить, и вообще чемоданов (пачка) у Шалвы всего двенадцать, что и требовалось доказать (последняя пачка вдогон).

Таможенный валашский досмотр, состоявший в том, что начинающий генералиссимус посмотрел на незыблемый зиккурат и потерял к нему всяческий интерес, был пройден! и — крикнули (две пачки) дивизию носильщиков.

Благородный Шалва хотел отблагодарить и Генделева двумя, нет, даже тремя пачками «Мальборо» или даже познакомить в Москве с Алкой Пугачевой, — но объявили посадку и подали экипаж.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

*где к нам слетает сон, где сами мы паримы  
и в Риме № 3 мы пилигримы*

В румынском подозрительном, еще на земле дребезжащем авионе, оказавшемся, если приглядеться, небрежно перекрашенным «илом», Генделев спал, а сновидений не запомнил.

Но, наверно, ему снился — и в последний раз снился — неотвязный эмигрантский сон (да-да, и в горнем Иерусалиме сон, и через одиннадцать

лет — сон!): что стоит он, в нашем случае — Генделев, на Главном Русском Вокзале, и он — приехал, вэ аф ахад его не встречает, вэ эйн асимоним — двушечки позвонить родным, и никого знакомых, и если и есть они, знакомые, то не те какие-то они, а вовсе полужнакомые, и нехороши они, а тех необходимых (до сосущей и во сне боли в сердце) нет, и не добратся до дому, и заблудился, и плутает в неведомых (ах, старый же адрес! а мы переехали в 61-м...) местах, и какой-то никчемный одноклассник (-ца?) ведет неправильно, и — родительская дверь, и нет ключа, и на звонок не открывают, и — да! то есть оф корс, я буду есть свой завтрак, мисс, но это отнюдь не кашкавал, мисс, это мыло, мисс, я точно знаю, когда и на вид, и на вкус мыло и даже мылится!.. и как глупо, господа, что в таежном Бухарестском аэропорту нет телефона, значит — не встретят в Москве... откуда им знать, знать, что прилетел, хорошенький сюрприз, Господи, как снег на голову... а что это внизу — снег?!

Господи, пролетели Киев, уже Россия, Господи, а сейчас еще и — советская — таможня!!! Оп-па!.. сели, как споткнулись, и на копчик — здрассте! Это что — это я в СССР? Что вдруг?

— Куда, простите?

— Сюда, пожалуйста!

— Откуда?

— Кто — я? Из Израиля.

- Зачем?
- А так.
- Паспорт?
- Вот паспорт.
- Бутге любезны, пройдите туда!
- Бога ради... Куда?
- Сюда, пожалуйста!
- Куда, спасибо.
- Туда.
- Сюда. Куда теперь?
- Сюда теперь!
- Жванецкий?
- Конечно.
- Спасибо.
- Пожалуйста!

И когда, по прошествии получаса шереметьевской белиберды, поисков багажной тележки и буридановских размышлений, к какому хвосту какой очереди пристроиться, проходивший по касательной штатский небрежно пригласил господина Генделева из Израиля пройти к седьмому отсеку на досмотр, господин Генделев из Израиля все-таки задержался и из-за плеча штатского попытался досмотреть, досмаковать, восхищенный: юный, бело-розовый часовой-пограничник кроличьими чухонскими зеркалами души своей отражал танцующего перед ним, перебирающего мелкими копытцами чудесного грузина в стреляющих джинсах, в возбуждении вибрирующего,

захлебывающегося и плюющего от обладания Волшебным Секретом Успеха: это дивный Шалва в пляске протягивал совсолдату по пачке «Мальборо» в каждой руке.

Но досмотреть (пройдемте!) эту сцену (ну это же вы!) до конца Генделеву не удалось, и, может быть, потому на вопрос: ну, а печатные материалы у вас есть? — Генделев тяжело вздохнул.

### ГЛАВА ПЯТАЯ,

*где в ногу семеро читают стансы, и  
зачем цыганы выдают квитанции*

— Ну, а печатные материалы у вас есть? — и подошли еще двое, и стало их семеро.

— А как же! — сказал Михаил Генделев и извлек из сумки семь (какое совпадение!) экземпляров своей же собственной книги с названием (опять совпадение!) «Стихотворения Михаила Генделева». Семь офицеров синхронно, в ногу, открыли по экземпляру и углубились. Автор присел на корточки, с головокружением закурил последнюю мальборину, смял пустую пачку и, не зная, куда ее сунуть, повертев, попытался подпихнуть под собственную сумку.

— Не мусорьте, — не поднимая головы, склоненной над книгой «Стихотворений Михаила Генделева», буркнул таможенник. — Это вам не Израиль.

— Есть! — быстро ответил застигнутый ин флагранти Михаил Генделев. «Это мне не Израиль», — подумал он.

Офицеры читали. М. Генделев смотрел на читающих чинов. «Читатели, — подумал Генделев. — Первые мои советские читатели. Общение с читательской массой».

— А зачем вам так много одинаковых книг? — спросил читатель.

— А что может подарить литератор, как не свою книгу? — ответил, пугаясь собственного остроумия, автор.

— Действительно, — сказал чин.

«Действительно», — подумал Генделев.

Офицеры дочитали, сдали и сложили книги стопкой. Из других печатных материалов так же внимательно была прочитана этикетка галлона «Смирнофф».

— Заберите, — сказали с отвращением читатели. — И идите.

— Куда? — спросил Генделев.

— В СССР, — сказали читатели.

И поэт пошел в СССР. И уже было вошел, когда, пробив его суточную, тупую головную боль, шум Шереметьева взорвал столь первобытной мощи крик, что взрывной волной Генделева развернуло и швырнуло назад, к барьеру таможни, на который с другой, еще не совсем советской стороны набегал, обгоняя собственный рев, Шалва.

— Шмонаэсре! — ревел он. — Шмонаэсре!!! — И был Шалва ужасней собственного крика. Куда, куда девался бенгальского тигра огонь его очей? Они были мертвы и неподвижны, как пустыня, и пустынно, как смерть от жажды. Где византийская осень червонных его кудрей? Шалва облетал на глазах. Он умирал. Но умирал в бою. И Самсон, и лев был Шалва — единолик.

Ополоумевший евреогрузин лягал шпорами двух стюардесс — русскую и румынку, мертвой хваткой вцепившихся ему в подкрылья. «Шмонаэсре», — кричал Шалва на языке Эрец-Исраэль, на языке города Лода, на языке, вряд ли понятном еще кому-нибудь в Шереметьево-2. Таким он и запечатлелся на мгновенном флеше вечности: взбесившаяся, подымавшаяся на дыбы стальная галоша, разинутая в крике «Шмонаэсре».

Смотри! — и отвернуться нельзя.

Затянутый турбулентным водоворотиком пограничников, я опять оказался прижатым к таможенному барьеру, за которым шла последняя битва грузинского пилигрима — и невольно понял: нет, не пятнадцать, как думала жена, и не шестнадцать, как фантазировал Шалва, не четырнадцать, как знала дочь, — и не восемнадцать было выдано Шалве в Шереметьевском порту чемоданов, а ровно 12 (прописью — двенадцать), согласно квитанциям Бухарестской таможни и наличию багажа в самолете. И никакого овервейта. В конце кон-

## ВЕЛИКОЕ [НЕ]РУССКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

цов, это вам не частная лавочка, а государственная авиакомпания Социалистической Республики Румыния. Катарсис.

И оттертый расцарапанными стюардессами, легко раненным белокрысым пограничником-приштыке, читателями-моими-таможенниками и человеком в штатском с чем-то там наперевес, я повернулся и пошел от Шалвы в СССР под страшный, вкуса слюны Судного дня, крик:

— Шмонаэсре!

*Конец первой книги*

## КНИГА ВТОРАЯ СЫНЕНЬКА

Пусть тот, который судит  
меня, тоже составит книгу.

*Иов (31:35)*

### ГЛАВА ШЕСТАЯ,

*о том, как преподавал стрелок-водитель «Павлик»'с  
словарь Советских Социалистических Рипаблик'с*

Начать! О, как начать главу воспоминаний? «Не встречали»? С ума сошли? Да лучше сразу расписаться в несостоятельности. «Не встречали»!.. Не смешите меня, господа.

Тем временем — писать стало решительно невозможно. Главы не преклонил — бац! машинистка-первопечатница возводит обвинения в опосредованности. Ни сном ни духом — а укоряет... И в головизне. Каковую — головизну — всегда считал частью усопшей и посмертно копченной рыбы.

Обидно.

Уже и с голоса дерут, добро б погрешности стиля, но дыры интонации. И — в строку. Уличают в покраже образной, стыдно сказать, — системы.

Обидно? Обидно...

Можно ли написать что путное, когда этот, с вашего позволения, Одиссей, сей главный, с нашего позволения, герой с повышенной возбудимостью, этот персонаж Генделев М. С. ведет себя кое-как, жестикулирует, изливает потоки сознания, вертится под ногами, связывает по рукам и опять же ногам — повернуться негде. Улисс связывал? Манас Великодушный — связывал? Гулливер, психо — тьфу! — логизировал? А этот — да.

Обидно? Обидно.

А вообразите на нашем месте какого ни есть тоже русского поэта. Поэта-Изгнанника? Честно представьте!

Или представьте честнягу-прозаика на худой конец, Солженицына Александра Исаевича представляете? Чтоб прибыл в СССР — и — «не встречали»? Умоляю, представьте.

Жить — нас учили — надобно не по лжи, а писать — правду. Правда, художественную, а не какую-нибудь, когда ничего кроме и какая каждой психопатке три раза на дню. Отсюда — и выйдите из нашего положения — вон. Вон туда! Где и — представьте — «не встречали», и — «поташнивало», и — «распогодилось» в городе Москве 1 апреля 1988 года.

А то: «не встречали»...

А бывало ли на Руси, чтоб не встречали?..

Итак:

— ...А khren yego знает, куда yekhat', — вконец опустившимся голосом, но вполне без акцента ответил иностранец Генделев из глубин «Волги».

— От это по-нашему, командир! — осклабился гэбэшник, — но поточнее, поподробнее... Адрес?

А — картинка-гэбэшник... Рост, выправка, нордические черты, фотогеничен. Новая формация. Любезен до чрезвычайности. Конечно и безусловно — Гэбэ. Их рука, графологи, их почерк, посудите:

сумы переметные в багажник прицельно подкатившей к крыльцу Шереметьева-2 «Волги» — сам.

Странника Генделева, ненавязчиво направляя под локоток, — плюх! на заднее сиденье — сам!

Сам — жаргончиком московско-таксерным бисерит, стилизуется — тоже сам.

Ведь сам небось, душитель свободы, сам, опричник, сам знаешь, куда везти! Нет, шутки шутит!..

Израильтянин озлился, налился жестоковойной кровью своей израильтянин. Стиснул заграничные, тель-авивской, довоенной еще работы, челюсти и дал себе слово: не колоться. До конца. До дыбы. До мученической смерти от расстрела в под-

валах Лубянки. «Как шли мы по трапу на борт в суровые мрачные трюмы...» — вслух души своей затянул поэт иудейский, но не допел, запомятовал, сбился, не пелось.

Помолчали. Каждый думал о своем.

«Добегался, — думал, например, Генделев. — Чего тебе дома не сиделось, мудака?.. Ну, хамсины, ну, кредиторы, ну, читателя — раз-два, левой!.. читателя мало, может быть, трое... Ну — на свете счастья нет... Но ведь была Покой-и-Воля!... Нет! потянуло в Россию... Заката над Невой захотелось? “Ни страны, ни погоста”, мамзер! Ладушки, будешь смотреть закаты. На Вытегре, в бригаде Валленберга... А ведь остерегали».

— Надолго ли едешь? — поинтересовался бывший московский бонвиван, а ныне владелец русскоязычного издательства «Антабус» художник Андрюха Резницкий.

— На сорок пять дней, — отвечал Генделев. — Сорок пять, — подсчитал умудренный Резницкий. — Точняк, ровно три раза по пятнадцать суток...

И когда это было? Еще в Израиле это было, на проводах. Перед погружением.

— ...Только денег ваших у меня нет, — обреченно продолжая валять ваньку, сказал чистую, между прочим, правду арестант.

— Мы и ненашими берем, — радостно отозвался возница-конвоир. «Вот и провокация! — облег-

ченно догадался Генделев. — Валютные операции шьют. Врешь! На дешевку не возьмешь! Не маленькие...» И — как отрезал:

— Валюты не дам!

— А нет баксов, возьмем, мамочка, товаром. Варенку везешь?

— Варенку не везу, — твердо ответил Генделев.

Но, конечно, лингвистическое любопытство наше играючи задавило осторожность, и конечно, сидящий в красной темноте внутри нас литератор подал голос, спросил, не удержался-таки: «Что есть “варенка”?» Гэбист ахнул от наивности и — филантроп — дал первый урок связыка на одиннадцать лет отставшему, отлученному от напряженного народного словотворчества изгнаннику. «Варенка» суть линялые джинсы, что нынче в фаворе в Московии. От руки, домашними средствами их изготавливают, отваривая обычные, советские (то есть сирийские, индийские и демократические венгерские и польские) штаны с какой-то гадостью, но ежу ясно, что настоящая, «важная», как выразился шофер, «варенка» идет из-за бугра — «Амерички» или «Фашистии», то есть ФРГ. Словарь пух.

«Тонна» — тыща рублей («штука» на старые деньги генделевской, отнюдь не невинной в этом смысле юности), отсюда — «тоннаж» — кредитоспособность;

«путана», «путанка» (вива Эспанья!) — шлюха, она же, если работает на «фирму», на «форинов» — «интертелка», или «спидола» (призрак СПИДа, почеловечески AIDS'а, добрел и до СССР);

«тусовка» (от глагола «тусоваться») — вообще любая активная деятельность, действие, передвижение;

«лопарь» — финн, он же — «финник»;

«шкодник» — совсем не то, что раньше шкодник, то есть проказник, а совсем наоборот — шкандинав;

«человек с тараканами» — дядя с приветом («джужим ба-рош» по-нашему);

«мудоид» (ноу комент!) — ретроград;

«стебок» — от глагола (укр.?) «стебаться» — сознательно вызывающего поведения субъект;

«совок» (мн. ч. — «совки») — простой советский человек.

От последнего, тающего во рту, падкий на самовитого слова деликатесы израильский поэт облизнулся и заурчал. Так, в непринужденной беседе, пополняя словарь, дули по Москве.

Москва как Москва. Ныне иерусалимец, урожденный санкт-петербуржец Михаил Самюэльевич Генделев Москвы не знал и традиционно не любил: Москва-как-Москва. Но — Россия ж! Не кот начхал, мудоид!.. А?

Россия!

«На!» — востропнулся турист, опомнился и вперился:

битый, как на разъезженных танковыми траками дорогах горного Ливана, асфальт.

Кириллица, кириллица, кириллица...

Кириллица «Молока» и «Электротоваров».

«Сыры», «Витязь», «Продукты».

Аскетические витрины.

Удивительная, именно своим отсутствием нагло, — реклама.

Тыщи народа, толпы народу, тьмы народа, и тьмы, и тьмы.

Странно семенящая походка толп — всесоюзное плоскостопие?

«Волга» тормознула у светофора — смотри: девица, всем ах-девица, в куртке почти «настоящей», в «важных» штанах, в самовязаной красной шапочке — чем же нехороша? Шапочка хуже девицы, девочка лучше, чем красная шапочка. «Телка старше прикида», — строго поправил водитель-инструктор.

Хотя Генделев знал Париж или, допустим, Берн, не говоря уж о Бейруте, лучше Москвы, он сообразил, что капитан-таксер раздумал доставлять арестованного на Лубянку и повез непосредственно на Ваганьковское. Бравый возница с трудом остановил раскатившуюся телегу,

вышел, одернулся, стал по стойке «смирно» лицом к кладбищенским воротам и отчетливо перекрестился.

— Володе, — ответил он на незаданный вопрос. — Володе, он здесь лежит. Я всегда, как мимо катаю, так делаю.

И приосанился.

— Ага, — мгновенно сообразил Генделев. — Оторвались же мы в провинциальных палестинах своих от жизни. Ай да Горбачев! Значит, перехоронили чучело. Опустел мавзолей.

— ...Оторвали ему гады серебряные струны, — надрывно прошептал псевдотаксист.

— Кому? — отшептал назад Генделев.

— Володе Высоцкому.

«Вот она, слава, — придя в себя, горько зазавидовал иерусалимский литератор. — Фиг на меня креститься будут! В Иерусалиме-то?.. И где он — о Иерусалим?»

Меж тем в экипаже беседовали. О том о сем. Звать — «Павлик». Соляр нынче дорог. Дороги наши совдеповские — сам секешь — говно. (Секу: «хара» — аккуратно перевел себе «Миша».) Работа наша — грязная (еще бы!..). Любитель-Высоцкого-Павлик поинтересовался, как обстоит дело с телками в Тель-Авиве, Миша успокоил.

Когда бричка подкатила по известному адресу, где проживала бывшая жена брата бывшей жены задержанного, прояснилось, что будет Павлик при-

водить приговор в исполнение собственноручно, что расплата (*шма, Израэль!*) близится и что она неизбежна. Расплата и осуществилась — тремя парами (опять) — колготок в цветочек, импортных, (с *шука Бецалель*, по два шекеля штука), одноразовой бритвой (прошли и канули благословенные времена «Мальборо», о Шалва, Шалва! Где ты, земляк? Где бы ты ни был — мы помним о тебе, Шалва!), так вот: тремя парами колготок, бритвой одноразовой — одна — и, подумав, открыткой с видом города Афула; и еще двумя — свобода, если разобраться, дороже! — гонконгскими контрацептивами.

Совокупно рублей на сто двадцать плюс крестное знамение, — мрачно учла бывшая-жена-брата-бывшей жены, когда, воротясь со службы, застигла у своих дверей бывшего-мужа-сестры-бывшего мужа, разинувшего пасть во сне.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,  
*моления о Чаше и эссе*  
*о колбасе*

Путешественник дрых на сумах поклажи, а вокруг него прыскали и перепихивались локтями октябрята. Экскурсию по путешественнику вел никогда им невиданный, бо увидел свет по убытию дяди из пределов России, племянник Янечка. Племянник Янечка очень переживал, на каком языке бу-

дет он разговаривать с Дядей Михаилом Из Америки (слово «Израиль» в непрочной семье прочно табуировалось), но успокоился после первых же инвектив заграничного родственника. Хотя некоторые, наиболее простые слова разбуженного ребенка из хорошей, интеллигентной семьи слышал впервые.

А еще через миг, подобный обмороку, дядя Михаил сидел на московской кухне — и пробовал.

Нет, не голод он утолял, — утешал он ностальгию гастрономическую, взлелеянную годами разлуки. Ибо:

если мир есть дом, то родина — кухня. «С молоком матери». «Родительский очаг». «Горький хлеб сиротства» (вариант — «чужбины»). «Сладкий дым отечества». «Сладко пахнет труп врага» (вариант — «белый керосин»). «А сало русское едят». «Пуд соли». «Евхаристия». «Кровь с молоком». Маца. «Щи да каша — пища наша». «Что русскому здорово, то немцу карачун». «Когда я ем, я глух и нем»... — вот она, вот откуда она, *glastnost*! (Посвящается Майе Каганской.)

Генделев пробовал.

...хлеб круглый черный по четырнадцать копеек пробовал, кефир из аутентичных стеклянных бутылок с изумрудной фольговой шляпкой — пробовал. И ацидофилин. И соленые огурцы пять рэ кило на рынке пробовал. С деликатностью. Предложение попробовать Колбасу поначалу от-

клонил, с мотивацией, что люди этого не едят и что колбасы такого (шалом, драгоценнейший Михаил Афанасьевич!) алого цвета не бывает и не было в его время, то есть Колбаса, как бы это понеобиднее выразиться, недостаточно ностальгична... Но ведь и названия такого — «Колбаса» — в твои времена не было — вот как парировали гостеприимцы! И — Генделев попробовал. Сало (прости коллега *Барух Авни*, во девичестве *Камянов* — оскоромился!) — пробовал. С нами крестная сила! — какое сало в голодной России! Каждому еврею на Пасху такое сало. В Иерусалиме, например, такого делать не умеют. Свиньи не те.

— А грибочки, а грибочки-то — боровики! Сами брали, сами мариновали!

«Стоп!!! — рявкнуло сознание Генделева. — Стоп! Чернобыль!!!» Грибы тянут из почвы кадмий! «А хер с ним, с кадмием», — разнеженно, с ленцой отозвалось подсознание.

И конформист Генделев немножко попробовал. Ведь, как согласились ян и инь, надо же душе чем-то закусывать напитки, которые телом пробовал. Например:

«Пшеничную» — прямогой вкуса и устойчивостью духа подпирающую Столп Утверждения Истины, что «алкоголь — это наружное», — пробовал! (После чего и самое алую колбаску умял,

и хиросимские грибы схрупал, и белой ручкой не махнул — прощайте, мол, ваше здоровье, Веничка!..)

И «Золотое» пробовал «Кольцо» по семнадцать (Генделев поперхнулся) пятьдесят бутылка, как нежно спела вслед бутылке хозяйюшка.

И антисемитскую «Горилку» вкуса «Циклона Б» и с резолюцией «с эффектом — согласен» — пробовал.

И «Сибирскую», после которой с голыми руками хоть на медведя («дов» — на языке *Танаха*), — пробовал. И действительно — дов. То есть хоть... И — абзац!

О дайте, дайте, Господь-Редактор еще сто строк описать этот стол, эту пищу! Продлить смак. Жалко, что ли! Для кого экономите место?! Где она, вереница напирающих шедевров, жарко дышащих в затылок, ради которых стоит пожертвовать гулками просторами листа и желудка? Нет таких шедевров, Господь-Редактор! (Но — абзац!.. И краткость — сестра нашего таланта. И теща — Гения. И кротость — сестра... — И — без никаких разговоров... абзац, кому я сказал!)

Абзац.

Начавши пробовать засветло, к одиннадцати вечера вспомнили, что на «Красную Стрелу», на каковую загодя были куплены билеты для торопящегося к маме-с-папой израильянина и со-

проводящего его, но уже ничего не соображающего лица — оживленного лица все той же бывшей — ..? брата?.. жены?.. — на «Красную Стрелу» безусловно опоздали, но не печалься! еще по рюмочке со свиданьем, за Михаила свет Сергеича, дозволившего — дай ему Бог здоровья и не допусти ускорения дней его — это свиданье, и — на! посошок! и за полночь встречающие, то есть провожающие, вставили Михаила, нет-нет, все-таки — на этот раз — Самюэльевича и Лицо Его в какой-то прибудный поезд на Ленинград, конечно, помимо билета, незатейливо напрямую забашляв проводнику и тем самым допустив подкуп государственного служащего при исполнении, что категорически не рекомендовалось гражданину государства Израиль *миспар теудат зеут ахад-шева-шалаш-ахад-штайм-тейша-шалаш*, нет все-таки шеш (или таки шалаш?), получившего право нанесения гостевого (в порядке исключения) визита к прямым родственникам в городе Ленинград (мать, отец, дочь — нужное подчеркнуть) — подчеркиваем — в город Ленинград, Союз Советских Социалистических Республик, и чему (нарушению социалистической законности) гражданин Израйля, *кацин рефуа миспар иши* (вычеркнуто военной цензурой) михаэль г-н-д-л-в мог... несомненно б воспротивился, если б мог... И дальше — темнота.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ,  
как, только оседлав дрезину,  
мы укрощаем Мнемозину

Но и в угнетенной России нет-нет да и всходит солнце, и утро — брезжит, и традиционно — даже и нерусский путешественник — стоит в тамбуре шаткого вагона «чего-то-там-чего-не-выяснено — Ленинград Окт. ж. д.», уцепив и без того дрожащей рукой — ручку (да-да-да-да!) дребезжащего мельхиорового подстаканника (это надо же!). Путешественник время от времени прикладывает похмельным бедовым лбом к холодному (да-да-да-да) стеклу вагонной двери, а за стеклом текла областная Россия, дождик и вообще всякая дребедень, лесочки там, дачки, усадьба Набокова, корова (*пара*, мой друг, «пара»), станционные сортиры, реэмигрантские березки (а не интересно — и не читайте!).

И уже Рейнгольд Морицевич Глиэр грянул гимн Великому Городу и его Николаевскому вокзалу. И уже по перрону бежали они, те самые персонажи изгнаннического кошмара, но — самые необходимые которые, и как сравнительно со сном, постаревшие! и Танька Павлова ревет, дура, и Лев хмыкает! — ну чего ты!.. И редкая, вразбивку надпись: «Л-Е-Н-И-Н-Г-Р-А-Д», как будто и сами не знаем, над уходом в паха Московского вокзала, и выход на площадь, на которую никогда, вы слышите:

ни-ког-да не мог и не должен был еще раз выйти Генделев, да и не вышел, а выбросился на плечах друзей Генделев на площадь Восстания. И — по Знаменской — Петра Лаврова — Неве — чрез Троицкий по Каменноостровскому, насквозь, наизусть, напролет к Черной речке, и не — «фи, символично» — жил я когда-то здесь, и — нет —

— нет, не узнать своим город и не признать своим. Только где-то близ Льва Толстого, когда прочел вслух транспарант поперек Кировского: «Слава народу-победителю!» — и форсированно рассмеялся, обернувшись с переднего сиденья, и предложил разделить веселое недоумение: «За что слава? какому народу? кого победителю?» — понял, что фальшивит, что врет! что не памятью доотъездного знания — но знанием поротой своей жопы знает и помнит, какому — здесь — такому народу и за что — слава, и ужаснулся, что — как и не уезжал.

И тогда оттолкнулась всеми четырьмя ногами и, наверное, хвостом его психика от этого «как и не уезжал», и выползла из-под обвала, из-под оползня этой памяти мокрая ледяная психика. «Нет, уехал. Да, уезжал».

И больше никогда не переживал он это ощущение непрерывности своего всегда существования «дома», в Ленинграде, что на планете Россия.

Позднее, как ни звал, ни подманивал с явным мазохизмом он это ощущение неотъезда, как ни натягивал края вырванной и незашитой ткани не-

прерывности, края не сходились, зияние не затягивалось, и в дыру изображения, в прорехи — до глазного дна — вбивало стальные лучи бешеное солнце другой — его Планеты.

И при перехлесте лоскутов изображения не был гладок шов, и приходилось с треском пороть наметанные лохмотья, и вообще терялась иголка, и нить не вдевалась в верблюжье ушко. Раз! — так и не вдел нить — раз! — и! — навсегда! — трясушимися от волнения и с похмелья руками, когда мы еще приближались к «его дому», в котором «он жил» почти до самого отъезда, и бил барабан, и впереди несли куруры, пока мы и сошли в микроскопическую прихожую, где белая стояла, крохотная — сама себе по пояс — мама.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ,  
*кратчайшая*

.....

.....

— Сыnenька, какой же ты все-таки у меня страшный! — сказала мама.

*Конец второй книги*

# КНИГА ТРЕТЬЯ

## ЧУДОВИЩА

### ИЗ ЗАВИЗЖАВШЕЙ ПРОРВЫ

Немалое удовольствие доставляет мне уверенность, что это произведение не может быть подвергнуто критике. В самом деле, какие возражения можно сделать писателю, который излагает одни только голые факты, имевшие место в таких отдаленных странах, не представляющих для нас ни малейшего интереса ни в торговом, ни в политическом отношении? Кроме того, я не смотрю на вещи с партийной точки зрения, но пишу беспристрастно, без предубеждения, без зложелательства к какому-нибудь лицу или к какой-нибудь группе лиц.

*Джонатан Свифт.  
«Путешествия Гулливера»*

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ, *где описания луны прелестным нашим юмором оживлены*

Я к вам вернусь, — опрометчиво обещал в 1982 году поэт. Я к вам вернусь / еще бы только свет / стоял всю ночь / и на реке кричала / в одеждах праздничных / ну а меня все нет / какая-нибудь память оди-

чало / и чтоб к водам пустынного причала / сошли  
 друзья моих веселых лет /... — придумывал, то есть  
 сочинял, то есть фантазировал некий поэт в безвоз-  
 душной, довоенной ночи Неве-Якова (понятно, что  
 до ливанской кампании 82-го, — как справиться?..  
 с комком в горле?.. о точной дате?.. как? дневни-  
 ков — не ведем, шиш потомству!) — в ночи Неве-  
 Якова, нагорного предместья Горнего Ерусалима,  
 предместья пятого года жизни в *Эрец-Исраэль*;  
 предместья, в каком висит в воздухе, так, что  
 устоялся и к нему привыкли, русский топор еврей-  
 ского похмелья — хамсина навсегда;

предместья, из чьих астматических окон выле-  
 тал плановый дымок паранойи;

где водка теплая, жисть пропадающая, дети визжа-  
 щие, а жены гулящие;

где безденежье означает не «0» (на выбор —  
 нулем, гласной, междометием, дыркой от бейга-  
 ле), но числом отрицательным, а вообще, все вели-  
 чины — мнимы;

в том баснословном довоенном Неве-Якове,  
 где жили поэты, и каждый встречал бывшего  
 харьковского негодяй-прозаика, ночью в темных  
 очках и с пулей в стволе, пофонарно шарахающе-  
 гося отсутствию собственной тени;

где выходил в жаркий еврейский, приходящий-  
 ся на сентябрь, Новый год ностальгически-мо-  
 сковский беллетрист, одетый Дедом Морозом с  
 бородой из ваты: беллетрист тянул на бечеве ав-

томобиль по имени «Неистовый Роланд», до пенсии марки «Принц», а ныне дикий агрегат без тормозов, но с орифламмой на корме, и тянул датый беллетрист конвой крылатых несчастий по бокам, и баском, сам-хор, тянул: «Наши жены в пушки заряжены», в то время как юная, розово-рыжая помощная кошка жены его, развернувшись на балконе, перечитывала монументальное издание «Книги о вкусной и здоровой пище» с предисловием Анастаса Микояна от 1952 года, перелистывала, с физической болью переворачивая каждую страницу изображения кондитерских изделий в масштабе 1:3, и, обводя оральный свой рот неправдоподобно оранжевым, оральным же, лингвусом, мявом мяукала: «Оргазм!»;

в том Неве-Якове, где и по сей день шатает покойного Анатолия Якобсона, на роковом поводе прогуливавшего сенбернара, ненадолго пережившего самоубийцу;

где застит полную, неполных лун над Неве-Яковом не бывает, крестообразная тень если не ведьмы, то уж точно стервы, рассказчицы про всех и про вся, телосложением с помело, чей — напротив — быкоподобный супруг спяну реализовал метафору, запихнув рассказчице в причинное место повестку, коей призывался в суд по делу о разводе;

в веселом Неве-Якове,

где до сих пор бежит вокруг дома, помавая крыжем, одетый лишь лунным светом, карабасопо-

добный бывший москомбинатовский художник и жуир за отказавшей ему в простом и естественном «ню» княжеских тифлисских кровей, на скаку не способной вместить обилие свое в скрещенье рук;

во всеобщем Неве-Якове,

где спятивший от головокружения при взгляде с высот открывшейся Истинной Веры на бездны глубин *Галахи* — и — наоборот — матерный Баян, некогда член комиссии по захоронению московских писателей, хаживал в полуночи сдавать стеклотару, потому что запой;

где, наоборот, непьющий, ибо астеник, легкоранимый — и ни царапины — поэт-переводчик выводил ломкую свою жену-миниатюристку по ночам погулять по минотавровым лабиринтам телячьего и так закаменевшего мозга-городка, и миниатюристка, в свою очередь, непременно встречала мышат в камзолах и с алебардами;

где филолог из-под Тарту учился науке ненависти и вышел в первые ученики и гениальным стал гоголеведом, что в Неве-Якове немудрено;

где сами мы поскуливали на незаходящую луну и взвизгивали от бессилия своего проснуться и заговорить — заговорить этот мир адамовым древним заговором, когда назвать — это значит овеществить, проименовать — значит призвать к существованию, чтоб стол стоял столом, а не был шулхан, и не отплывал, не наплывал двумя дымящимися по хамсинному сквозняку ножками и по-

ловиной столешницы на пейзаж-стеллаж классической русской литературы, тщетной описать, а значит, и осуществить это посмертное бытие, и чтоб к водам пустынного причала сошли друзья моих веселых лет, ибо поэт был петербургский, стих русский, а вид — иудейский.

Вид из окон квартиры в Неве-Якове.

Отличный вид.

До нас квартиру смотрела чета экс-москвичей.

Ключ, выданный им в конторе, понятно, не подходил к замку, в каком обломился.

Нетерпеливые неоквартиранты спорхнули на этаж ниже, посмотреть, хоть глазком, хоть глазком! квартиру-близняшку.

Дверь близняшки была уже блиндированной стали, звонок отсутствовал с мясом. Робко ломились...

Открыл новосел из Дербента, человек-гора, весь небритый, смугло-синий пузырь, неаккуратно заправленный в синие же сатиновые трусы, плавно переходящие в галоши на босу ногу. Из объяснения понятного желания осмотреть аналогичную планировку, дербентец, славный, между прочим, человек, но мрачный, понял легко, что эти — «сосэда прямо над моей голова», и гостеприимно впустил. Сам сел. На табуретку. Лицом к стене. Окаменел — нормальная дербентская каталепсия.

Осчастливленные социалистическим, щедро раздающим квартиры Израилем, разошлись по жилплощади. Они, прошедшие медовые годы в

шестнадцати метрах кубических коммуналки-тризвонка, с появившимися от шепота ночного и отсутствия ванной мальчиком Ярославом и дочкой Изольдой и (известно зачем?) появившейся чугуновой свекровью за шифоньером, — наслаждались метражом, попутно осуждая сюзаны, раскрашенных — поверх бурок и папах абреков — акварелью аульных родственников в рамках из ракушек и анилиновых роз, — у них, конечно, будет не так, и — какой вид! — запищала инженер-эксплуатационщик, распахнув этот вид — шизофренический вид каменных холмов Иудейской пустыни, месмерический пейзаж оборотной стороны Луны под небесами сна, устойчивый морок Джаблутского хребта по окоему побережья Мертвого неба — какой вид...

— Повэсица можна, — сказал, не покосившись, невеселый дербентец, свисающий с табурета.

Такой вид.

Но поэт пел, закатывался, возводил гомеровские бельма горе этого вида, поэт бредил в грозное ночное небо Неве-Якова 1982 года, пятого года нашего Израиля, поэт выводил: / Я к вам вернусь / от тишины оторван / своей / от тишины и забытья / и белой памяти для поцелуя я / подставлю горло... И подставил-таки.

Еще через пять, а всего — через одиннадцать без малого лет нашего Израиля, подставил горло. Белой памяти. Для поцелуя.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ,  
в которой Генделев интересант,  
а слухи ползают по Ленинграду-Санкт

Без дня неделю принимал Петербург поэта израилева.

Мама с папой видали поэта по утрам в постеле, ибо аккуратно к утрам сына приносили.

Надоело ронять красивую голову на реторты в своей лаборатории Ларке, в миру Ларисе Гершовне, женщине-химику, женщине строгого поведения и хороших манер, отличному товарищу и даме, достойной во всех отношениях, но тоже из друзей моих веселых лет.

Женщина-химик Лариса Гершовна клевала с недосыпу носом, а встряхиваясь, хрипло объясняла никогда не числившим за ней подобных прорух коллегам: «Кореш из Иерусалима приехал...» Кроме того, Ларочка крала (чего за ней тоже не числилось последние одиннадцать безупречных лет) казенный спирт («шило») из химлаборатории в количествах, прямо сказать, товарных, потому что в законно сухой горбачевской России алкоголь, точнее, его дефицит — настолько насущн, что давал себя знать и в возвышенном доме Беллы Ахатовны, известной советской поэтессы А.

«Шило», к справедливому неудовольствию пунктуальнейшей Ларисы Гершовны, не успевало настаиваться на бруснике, что понятно: этикетку галлона

«Смирнофф» друзья веселых лет и их знакомые прочитали не закусывая. Когда запасы ректификата в ленинградской оборонной промышленности иссякли на ближайшую пятилетку вперед, рассудительная Лариса Гершовна перестала выходить на работу за свой счет, чтобы не нервировать сослуживцев.

Уже попал в медвытрезвитель драматург Е. В., молочный враг поэта. Смягчающим обстоятельством было, что драматург, теперь автор сценариев факельных шествий, нигде не работал никогда и продолжал нигде не работать все одиннадцать лет разлуки с врагом, поэтому на службу не сообщили.

Уже как-то приелось подымать упавших в обмороки прохожих на Невском проспекте. Уже популярный в известных кругах режиссер площадных действий Коля Беляк серьезно ушибся, брякнувшись об пол легендарного кафе «Сайгон». — «Эк вас, батенька, перекосило», — сказал заботливо склонившийся над телом военврач Армии Обороны Израиля, человек начитанный.

Уже на корректный, на недурном английском, вопрос отрока-фарцовщика: «Сэр, простите, сэр, вы что, сэр, наш русский сэр?» — поэт иудейский устало махнул: «Кажется, уже да...»

Уже в ресторане ВТО (ныне столовая Союза театральных деятелей РСФСР) некий визуально-раньше-знакомый деятель РСФСР разлетелся к некому откуда-то-смутно-визуально-раньше-знакомому целоваться:

— Ты?!

— Да, — сказал Генделев, уклоняясь от засоса.

— Леонтьев!

— Да, — сказал Генделев, — Леонтьев.

Уже прилетел из Йошкар-Олы, сорвав командировку и тем поставку сляб в северную зону СССР, лучшайший друг Женька по кличке Жо Гималайский, прыгун тройным и несравнен, и другие лучшие друзья оформляли ему фиктивную госпитализацию в Скворцова-Степанова с диагнозом психастения. (Он лег туда с тем же диагнозом по отбытии поэта, хотя уже «до» жаловался, что больше-де не может.)

Слухи ползли по Санкт-Петербургу.

Передавали, что (навсегда) приехал (вариант — попросил политического убежища) шишка из Мосада некто Генделев, лично организовавший *Сабру и Шатилу*. Кое-кто одобрял;

уверяли, что наш Генделев в единоборстве сбил два наших самолета. Генделев не опровергал;

утверждали, что Генделева будут печатать в «Октябре», — Генделев опровергал с негодованием;

уже перекрестилась из толпы Первая поэта, первая комсорг, а ныне парторг идеологического вуза и поклонница перестройки Наина Олеговна, с которой, юным комсоргом, Миша терял обоюдную невинность на скамейке Марсова поля, где лежат герои, в тридцатиградусный мороз... — Христос с тобой, сказала она, старенькая, и прослезилась;

уже с телефона родителей снимали трубку, чтобы папа немножко поспал, но телефон все равно ритмично звенел. И некоторые предложения были настолько недобросовестны, что Генделев молк;

предлагали отвести многомоторную лодку-катамаран на плаву Муленьке в *Димону*. Дивные мореходные качества;

просили передать берет. В *Бней-Брак*;

уговаривали признать дитя;

предлагали подписать Протест;

предлагали шесть килограммов актуальнейшего романа о сталинских лагерях (*Солженицын — котенок*);

предлагали остаться;

предлагали торпеду (понятно — макет);

предлагали вывезти сучку (добермана — предполагалось, что она попадет под Закон о возвращении);

нашлась в Кохтла-Ярви промежуточная (вторая) жена. Считала себя вдовой;

звонили из военкомата. Обещали безотлагательно призвать.

Уже через третье подставное лицо, горя французскими знаками препинания, депешей уведомил бывший солагерник по п/л «Веселый спутник» папиного завода «Вибратор», товарищ генерал ГРУ, товарищ Х. У. З. (Икс, Игрек, Зет), что встретиться, сам понимаешь, пардон, не может, но таки кинул NN (эн-эн) в окно камешек в час между собакой

и волком (и попал в собаку), и ввалился Л. Ж. (эл жэ) в четыре квадратных метра кухоньки, и занял три, но смешали березовый «Балантайн» с распределительским «Бифитером», и очень он, Ленька Ж. (Ленька Же) болел за ваших на Голанах, а гвардейски поддав, выдавал госсекреты оборонного значения СССР, о которых ленятся писать стажерочки-журналистки в «Джерузале́м Пост».

Отъехали товарищ генераль Леонид Георгиевич Жабин к полудню. У парадного дежурила «Чайка», и две БМП (боевые машины пехоты) подчеркнуто индифферентно ездили туда-сюда в скверике. Стайка автоматчиков в форме спецназа играла в пятнашки. Салил Герой Советского Союза, прапорщик Саша Соколов. Моросило.

Генделев сладко потянулся, повел пурпурными бессонными очами вослед кортежу, отдал честь. И вернулся к очагу.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ,  
*о том, что Родина всегда вернет долги  
за две сугубо смежные ноги*

Очаг сугубо смежный. До потолка поэт, роста почти среднего, если в обуви, начал дотягиваться раньше, чем начал ломаться его творческий голос.

Папин завод «Вибратор» наградил своего ветерана этой халупой и за беспорочный труд, и за инвалидность.

Инвалидность отец обрел при прорыве блокады под управлением товарища Клима Ворошилова (управлением — как прорывом, так и блокадой).

Под Невской Дубровкой папе-ополченцу оторвало обе ноги. Миной. И размозжило руку. И повредило сетчатку глаза.

Было это в третью атаку на немца, на которого телефонист-ополченец рядовой Самуил Менделевич Генделев полз, вооруженный катушкой провода.

Без никакого оружия.

В первые две атаки отец полз даже и без катушки, для массовости.

На языке стратегов это называлось «прорыв».

Без сознания отец пролежал двое суток измочаленными культями в крошеном льду мартовской Невы. Ледяная вода стянула сосуды — он не истек. Спасли отца часы — на них, дедовский презент, позарились мародеры, они же санитары. Снимая с остатков отца часы, человеколюбивые мародеры обнаружили, что — — — пульс!..

Отцу повезло.

И мне тоже, потому что это был мой родитель. В этой цепи счастливых случаев, прухи, слепых удач, везения, ослепительных улыбок фортуны — кульминацией было даже не то, что папе товарищ Клим, маршал Ворошилов, полководец и балетоман, положивший миллион черепов в снег, в топь Синявинских, по весне прорастающих ржавыми костями болот, Климент Ефремович, сука ебаная!

первый красный офицер; кульминацией было не то, что папе выдали бесплатные протезы и по ордену Великой Отечественной войны на каждую ногу, каковыми орденами и медальонами папа не украсил себя ни разу, даже отправляясь на ежегодный сполз ветеранов, куда из его полка слетались еще двое, а кульминацией было то, что нам дали отдельную эту квартиру в двадцать семь квадратных метров всего через полтора десятка лет очереди, причем дали — без очереди.

Сюда (ба! в левом углу над окном дефекты штукатурки) как-то в ночь на 8 марта, возвратившись с шумства в честь Международного женского дня, нежный сын принес матери цветы.

Мама глубоким утром постучала в комнату сына и сказала: «Это — убрать!»

Генделев-сын, сбиваясь, поправил зимнее пальто, в котором лежал поперек и поверх одеяла, и проверил, где ноги. По памяти ощущая вестибулярку, он выбрал в комнату родителей: из рук вон плохо, из рук!

В комнате родителей — она же «большая» — было темно. Северный свет не пробивался. Северному свету из окна заслонял дорогу фикус, не вписывающийся в кубатуру и потому изогнутый даже и не вершиной, но в середине — дугой ствола на весь четырехметровый гигантский пролет «большой» комнаты. В джунглях его кроны сидел папа и читал «Науку и жизнь».

На большее места в комнате не было.

— Вынеси ботанику, — тихо сказала мама, — дай нам дышать.

Генделев изумительно быстро протрезвел: откуда?!..

— Вчера в три ночи, — наконец грозовым голосом проскандировала мама, — ты принес это. От тебя пахло. От тебя пахло вином. Ты был нетрезв, как свинья, Михалик. Ты принес это и перебудил нас всех, меня и папу, а папа так устает на работе. Ты принес это, и сказал, что это мне — женщине-и-мать, в мой Международный женский день восьмое марта. Мы не хотели брать, но ты настоял. А теперь унеси эту ботанику. Где ты ее взял?

— Угу, — сказал Генделев-сын.

И подумал, что сам бы не прочь приобщиться к информации, где это ночью достают такие деревья в кадках по пути с Васильевского острова на Черную речку, имея руп в кармане и состояние алкогольной интоксикации.

Быстро вынести икебану — об этом не было и речи. Фикус пришлось срубить, а кадку, весом не меньше центнера, выкатили на следующую ночь на помойку. Без лишнего шума. Пришлось сделать дюжину ходок, охапками вынося фикусовы листья.

Происхождение же цветов в подарок маме на восьмое марта так и не выяснилось. Подозрительно похожие кадки по случаю бросились через пару лет в глаза поэта Генделева в здании Нарвского на-

родного суда, но как он мог попасть в Нарвский район по пути с Васильевского на Черную речку?

А кадку как раз мы с Ленькой Жабиным и выкачивали, — удовлетворенный памятью своей, вспомнил гражданин Израиля, вернувшись к очагу.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ,  
о грации  
движений задницы Российской Федерации

Мама мыла ночные тарелки, папа смотрел телевизор. «В Иерусалиме идут уличные бои, — пламенно, иллюстрируя видами Рамаллы, объяснял баритон. — Коренное население Палестины дает отпор сионистским захватчикам».

Эдак рассупонившись, убийцей на отдыхе, сидел оккупант в папином шлафроке и с нежностью смотрел и слушал про далекую родину.

Как раз на экране его добрый знакомец Володя — московской выучки палеолингвист Владимир Петрович Назаров, ныне и присно Волк Сын Скалы, то есть Зеев Бар-Селла, булгаковед из Иерусалима, несмотря что уже не мальчик, — уворачивался от бульжников усатых женщин и детей палестинской революции.

Палеолингвисту было жарко, автомат на Вове сидел плохо, за спиной. «Бои идут в центре Тель-Авива», — заходился диктор.

Владимир Петрович с натугой поднял подкатившийся кирпич и, озлившись на хулиганье, неловко отметнул в комсомольцев. Не попал! Вот всегда так...

— Звери вы там, сынок, — сказал папа.

— Дал бы ребенку поспать, — сказала мама.

— Эксель-моксель, — кажется, сказал Зеев Барселла.

— Есть жертвы среди коренного населения, — сказал диктор.

Генделев-сын промолчал, потому — интересно! — что: в камере снова возник Сын Скалы с новым фингалом на скуле Владимира Петровича — двуединый, оне энергически грозили кому-то за экран, в угол, где торшер, и произносили, судя по артикуляции (звук сняли), нечто азартное по-русски.

Потом была передача о чекистах когорты Дзержинского — фаланги Менжинского, несправедливо репрессированных Сталиным. Просто Сталиным, без чинов, без титулов. Подбежал Сталин и репрессировал гоплитов. Хотя невинно убиенных чекистов было до обидного мало, Генделевы посмотрели и эту интересную передачу с непреходящим вниманием.

Папа, старый человек, — взгрустнул.

На сладкое неувядаемая плясунья Кировского театра вспоминала — как живого — Мируныча...

И — сюрприз! — ударная стройка ЦМД (Центрального молеельного дома) адвентистов седьмого

дня, то бишь свидетелей по делу Иеговы, как в период (1917–1988 годов) нарушения ленинских — прямо руки опускаются! — норм называли их в лагерях. Хроника текущих событий.

— Что делается, — спокойно сказал папа.

— Цирк, — объявила мама.

— Цирк! — объявил диктор.

Цирк!!! «Хы-ш-ч-ни-ки!» — под увертюру прокричал шпрыхсталмейстер, и Марш Дунаевского непринужденно перешел в «некому березу поломати». Лебядью выплыла Российская Федерация — аллегорией девы в кокошнике с андреевскими лентами и с хорошим лицом. Вывели Солженицына. Он был сыт, вял, убелен и — рыкал. Обнюхал арену, пожмурился прожекторам, но ничего, одобрил. Аллегория России пальцами нащупала в лаврах Исаича пасть. Как ни вертел головой, как ни хмурился — пасть разъяли. Амфитеатр — «Ах!!!» Дробь. Нервы как струны. Луч — в пасть, в большую. Все переживают. И тогда, очень удачно, девушка засунула в полость рта пасти зверя свою голову... Да! Кокошник не лез, Солж бил хвостом, давился, нет — не помогло! влез, как миленький! Торча из Александр Исаича, аллегория топырила отличный валдайский зад, ай-да поводила рукавами сарафана, — но в общем было уже ясно, что все «леги артис», все удалось, что это для красоты, и дробь оборвалась — ап! Ка-а-амплимент!!! Извлеченная из зверя красавица только что раздумянулась, да лен-

ты кокошника обслюнявились, а так все — как новенькие! Ап! И — еще комплимент! Что тут стало! Овации! Купол чуть не рухнул — какие овации. На Максимова Владимир Емельяновича и смотреть не стали, даже жалко его было по-человечески — забытого на тумбе, как ни ревел, сколь ни скребся, ни скалился, а все хотелось воскликнуть, как незабвенный Станиславский К. С.: «Не верю!» Да что там. Ничто из дальнейшего не шло ни в какое сравнение с этим гвоздем, с этой изюминкой манежа! Ни взаимоджигитовка — трупы «Нагорный Карабах», ни музыкальные: «возьмемся за руки, друзья» — лилипуты в нацкостюмах (а самый рослый и с чуприной), ни воздушные гимнасты в скафандрах якобы закрытого типа, работающие без сетки, сетку не завезли. Ни готовящиеся к гастролям хасиды, в танце хлопками ловящие моль, ни фигурное катание на катках по обоим полушариям, ни один-трезвец-с-медведем-на-один — все ни в какое сравнение! Пожалуй, что только Этот, очень смешной, спасал положение, но ведь Его всегда любят, особенно детвора. Да факир (ариец он-и-евразиец-гипербореец-и-этруск) замедитировал весь цирк вконец, сам отлично впал в нирвану, показал Шамбалу, Бодисатву-Ульянова и прародину нордических народов под Воркутой, но и ему не удалась — что ты будешь делать! — оккультно-аграрная программа, — что, в общем, понятно. Как ни верти (Гумилев-Топоров-Иванов-Сидоров) — не Наза-

рей. Хотя водная — под музыку бардов — феерия, перспектива еще Тысячелетия Крещения Руси, потрясла организм до глубины души Генделева и долго не отпускала, трясла...

— Тебя к телефону, — значительно округляя глаза, сказала мама и — шепотом: — Из ОВИРа.

— Не могли бы вы, Михаил Самолыч (слабо господином назвать, слабо!), зайти к нам через часок-два...

— Это по поводу визы в Москву? — обрадовался поэт, намеревавшийся навестить столицу вашей — нашей? — вашей Родины под официальным предлогом истоскования по бывшей-жене-брата-бывшей жены и для этого зане испросивший в ОВИРе. Визу в Москву.

— Допустим, — ответил голос.

— А с кем имею честь? — спросил Генделев

— Спросите Леонид Севастьяныча. — Гудки.

— Бай-бай, — машинально сказал телефону Генделев.

**ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ,**  
*в какой накал страстей невыносим,*  
*а Генделев М. С. имеет честь, засим*

Ох, не в одиночку решил идти Генделев в ОВИР. Не понравился ему тембр Леонида Севастьяныча. И имя-отчество не понравилось. Заржавевшая интуиция вызовов к леонидам севастьянычам срабо-

тала. Зуммер... Красная лампочка... Сирена... «Если вас вызывают в официальные инстанции, идите не один, — инструктировали будущего гостя СССР, — и действуйте согласно ситуации, *беседер?*» Беседер-то беседер, потел, смотря на работающий кондиционер, адон Михаэль.

— А если не беседер?

— Ну, — пожал плечами инструктор, — *Элоим гадоль*.

«Ох, гадоль, — думалось тогда Генделеву. — Во-истину гадоль!..»

— Пошли со мной, — позвонил он Жо Гималайскому, храбрейшему и несравнен.

— Куда?

— В ОВИР...

— Во-первых, еще рано об этом думать, посмотрим, что будет на ближайшей партконференции, — сказал рассудительный Жо. — Во-вторых, сам я, если ты, светик, не запамятовал, полуармянин, полурусский, и из «ваших» у меня в семье только хомяк Изя, полное имя Изяслав. В-третьих, я слаб после вчерашнего, а у меня сегодня твой творческий вечер, и голова у всех одна. В-четвертых, дождик. Но пошли!

Но пошли.

Секретарша ОВИРа странно посмотрела на твердо шагнувшего сурового израильянина, спросившего Леопарда Савельича, — и криво крутнула на дверь.

Жо залег при двери, контролируя простреливаемые выходы.

Генделев вошел. Проник без стука. Трое в комнате. Опрометчивое рукопожатие. Молодые: ошую ровесник (в центре — Портрет), одесную — помоложе. Интеллигентные, красивые, простой русской городской красотой. Одетые недорого, но модненько. Ну, так и есть — книжечки. Майор, капитан.

— Позвольте полюбопытствовать?

— Бога ради... Но — из рук!

— А я — близорук.

— Тогда в руки.

Майор — Маков Леонид Севастьянович.

— Садитесь.

— Постою, то есть сажусь.

Тошненькое молчание.

И тогда Генделев взорвался (конечно, и бровью не поведя). «А! — подумал он. — Еще и унижают! Майоришка, капитанишка! Мне, писателю с мировым, ну, хорошо, с европейским именем. Мне, доктору Генделеву из самого Иерусалима, каких-то шкетов, штаб-офицеров, добро б генерал-аншефа там, генерал-майора, но фи! — капитан Севастьянович?»

— Органы хотели бы встретиться с вами, Михаил Самолыч, для того чтобы узнать, как там наши люди в Израиле живут...

«Спокойно», — спокойно от страха сказал себе Генделев и от страха же охамел.

— Не знаю, как там ваши люди, но наши — отлично. А беседовать с вами я не могу-с, да!

— Не хотите?

— Нет, что вы, не могу-с.

— То есть как? — профессионально удивились капитан с майором.

— А так — и хотел бы, да не могу. Вы знаете (сотрудники КГБ кивнули), что я не (сотрудники КГБ опять кивнули и одобрительно улыгнулись: знаем...) — не подданный СССР (кивок), но подданный (Элоим гадошь! — откуда это слово «подданный»?!) Израиля... И как подданный (сотрудники кивнули) Израиля, я еще и военнообязанный (кивок), и как военнообязанный, то есть военный, как солдат, вы меня понимаете, господа офицеры? — как офицер, я не имею права беседовать с представителями контрразведки, ведь так? (сотрудники тайной политической полиции кивнули, обалдев окончательно) — без согласия моего непосредственного командования. Которого согласия (Элоим гадошь, что я несу?! ) — за удаленностью получить не могу. Засим имею честь.

Сотрудники кивнули.

Генделев тоже.

Пыл его погас, героизм подкис, фонтаны адреналина толщиной и напором с Большую Струю Большого Каскада хлестали из его надпочечников. «Самсон» адреналина. Петергоф органов внутренней секреции. Версаль органов.

Стало скучновато. Смеркалось.

Наконец сотрудники чужеродных органов приземлились и переглянулись. Майор встал. Майор извинился, что для того, чтоб иметь возможность встретиться с Михаилом Самю... Само... Саму... -иловичем, они были вынуждены прибегнуть к услугам дружественной организации — Ленинградского ОБИРа. Генделев извинения принял. Стоя смиренно.

От рукопожатий обоюдно уклонились.

В дверях Генделев оглянулся. На лицах господ офицеров читалось веселое недоумение. Казалось, сейчас дверь закроется и они прыснут, как школьники. Дверь закрылась.

— Чем же я их так обрадовал? — мучился, приходя в себя от, распахивавшийся фрондер за столиком «Европейской», где отпраздновали событие.

— А ты их избавил от работы, — лениво отозвался Жо Гималайский, рассудительно закусывая эскалопом. — Они ж чиновники, бумажные их души. Им всех делов теперь галочку поставить: беседа проведена. А потом ты сыграл на их дворянской голубенькой офицерской чести, — иронически посмотрев на военврача Армии Обороны Израиля, добавил Жо. — Кто же их за офицеров, кроме тебя, держит...

Один хитрый глаз Жо Гималайского был прищурен, второй, каким он смотрел на поэта сквозь фужер, был огромен, печален и вдруг подмигнул.

— Впрочем, может, ты и прав, маленький, — они теперь и есть наш русский офицерский корпус. Вандейцы Горбачева... И не горюй, маленький, давай еще по одной, нам грозит еще творческий вечер.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ,  
*в которой Генделев себе же скажет: «Чу!»,  
прикладываясь к милому плечу*

На вечер съезжались.

Собственно, это был вечер двух залеточек, пары иностранных штучек, двоих изменников родины вечер, в двух отделениях.

Первое — Бахыт Кенжеев (государство Канада).

Конечно, с москвичом Бахытом (красивой степной девочкой лет под сорок) у ленинградца Генделева (государство Израиль) другого времени лично свидеться не нашлось, кроме как между первым его и вторым своим отделением вечера их эмигрантской поэзии, на который — съезжались.

На вечер.

Эмигрантской, вот беда какая, — поэзии.

В Большом зале.

Ну, положим, — в Большом зале ДК пищевой промышленности.

...Но — в Большом зале!

Но — ДК имени Крупской. Надежды Константиновны.

В «пищевичке». В «хлеболепешке». Что на улице «Правды».

— Вечер?

— Да!

— Поэзии?

— !..

Что «какой?» — русским же языком: э-ми-грантской. Конечно, официальный... То-се, билеты. Повторяю: э-ми-гра... Что «иди ты»?!

— А вы знаете, сограждане, что в тот же самый вечер — вечер! Да, такое совпадение. В бывшем ВТО. Вечер памяти, тьфу! — вечер Бродского? То есть вечер по Бродскому, то есть вечер имени Бродского! Который Джозеф. Который (а что я такого сказал?) — лауреат. Да-да-да! Да разрешили? Да! Разрешили — да! И дежурные по Бродскому ведут тот вечер: Костя (Константин Маркович) Азадовский и Саша (Александр Семенович) Кушнер. Этот — который сидел, пресловутый, и — который зато поэт.

Один сидел, как Осип, второй поэт, как Иосиф.

А тут! Вечер живых эмигрантов — Бахыта Кенжеева и Мишки, подумайте только — Генделева.

— Что как? — Так! Гласность — не хухры-мухры. (Это «не хухры» и объяснили администраторше ДК имени Надежды К. Крупской, вдовы тоже небезызвестного эмигранта Ник. Ленина, объяснили — поклонники и рачители наших с Бахытом муз-изгнанниц. Заодно, говорят, прожектор и

организатор этого вечерочка Витя Кривулин под горячую руку довел до сведения администрации тот малоизвестный по нынешним временам, но исторический, в сущности, факт, что муж товарища Крупской товарищ Крупский (администраторша зарделась и глупо хихикнула), так вот, товарищ Крупский даже и помер в эмиграции, далеко пережив второго мужа своей идиотки, и помер персональной смертью и нераскаившимся меньшевиком. Факт доконал, и хоть администрация сама — была не была — но зал дала.)

Съезжались все старые молодые поэты петербургской школы.

Заранее пришел Петя Чейгин, лирик с ясными с точки зрения судебной психопатологии очами, чьи избранные — о, когда бы! — им самим стихи двадцатилетней свежести наконец пристроились в задрипанный альманашек, каковой и подарил с дарственной. Можно подумать, что этих стихов не знавали мы наизусть в те еще времена, когда случилась Генделева с Чейгиным дуэль под окнами ныне кельнской поэтессы — Юлии Вознесенской, но не из-за ее — Печорской лавры — мощесложения, а из-за телосложения Петькиного.

Рубились на эспадронах.

И были они, стихоплеты, юны, пьяны и в кружевах по снежку на закатном морозце. Рубились во дворе, в проходном. Разгорячился псих-Чейгин, от смехотворного оружия потерпев,

взбежал на пятый Юлин этаж, где не отвлекаясь пиновала честна компания, и выкинул на сатисфактора кактус. Соседский, в горшке. Чудом жив Генделев, а вы говорите. Шрам — вот он, а сейчас — поцеловались, и ушел старый Петя, на вечер не остался, чужих стихов последовательно не терпел.

Пришел Шир. Легенда Ширали. Не пришел, легенду припер.

А станывал «Сайгон» — пятнадцатилетки цитировали Шира. И все перевидавшие профессионалки цитировали, зардевшись. Известен курьез с одной юницей, с которой поэт провел даже вторую (правда, с полугодовой разбивкой) ночь любви. Потому что забыл. И по рассеянности опять уболтал и прельстил стихами, посвященными только ей, Единственной. Три самоубийства в пассиве Виктора Гейдаровича Ширали-заде, три суицида — кто ж такое вынесет, у кого здоровья станет на три, с применением техсредств электрички и высокого этажа?! И нехорошо вышедшая в нехорошие годы книжка. Он почти и не вынес — без зубов, без желудка, без вожденного членства в ССП, уже без вдохновений, кроме как выпить. Жены разбежались, чаровниц как сдуло: «Ни хуя себе зима! Во морозы забодали»... — читал юный Шир во Дворце юных пионеров на ЛИТО, приглашенный к цыплятам их клушей Ниной Королевой...

Поцеловались. С перегаром Саркосельским, с перманентного похмелья пребывал Витя — дали глотнуть.

Первое отделение Гейдарыч спал, второе вяло бузил.

Пришел Генделев, Миша.

О Генделева.

Начинался Миша лет двадцать тому по шести-струнной системе. «Корчит тело России, — открывалась популярнейшая из его альб, — от ударов тяжелых подков. Непутевы мессии (аккорд) офицерских полков»... С многшепотным расейскому каждому сердцу припевом (муз. Л. Герштейн и Л. Нирмана): «Чей ты сын?..»

А что? Не хуже, чем у людей.

Так как «эполеты» отлично рифмовались с «сигареты», клеветы представили корнета самому — Константину Константиновичу Кузьминьскому (никогда не знал твердо, сколько и где мягких знаков. Ставим для надеги два), он же Кока, он же ККК, он же пятый пиита Санкт-Петербурга. Он же всешний охотный консультант а) адрес, в) быт, с) цитаты ин ленинградз андерграунд поэтри.

Мужская дружба полыхнула как пожар степной не разлей вода. Под рукой мэтра и пандан набухающему национальному самосознанию ИТР обеих национальностей Миша приступил к боговдохновенному изготовлению брюсовской щегольской отделки иеремиад на впрямь-таки еврейские жи-

вотрепещущие темы, путаясь, впрочем, в рукавах Заветов, что под общепитерский завыв и при свечах было не шибко заметно, а в струю.

Но — главное! Миша решительно глянулся прелестной Леночке — «малютке» ККК, которая малютка и сбежала с большим личным облегчением от Константина Константиновича к все-таки в каких-то рамках поддающему и не в пример благоуханному Генделеву.

Имело место очень много мелких движений. Глупый и плаксивый ККК отбыл по иудейской (не ставим в счет кокетливую, но довольно отчетливую по пьяни юдофобию пятого пииты, ах, кто же считает!..) визе в Новый Свет, где то ли сдох (ни слуху), то ли сгнил (духу). Оставил Многотомные Записки Рогоносца.

Миша же Генделев, напротив, счастливо сочетался с Леночкой, никуда, естественно, не уехал, подумывал было поначалу, как все, да не собрался как-то, родилась, как водится, дочь. И — душа в душу.

Да и куда, посудите, уезжать русскому поэту, пусть этнически и даже еврею, от страны своего, и Достоевского, и Гоголя языка, от агрокультур отчих вотчин, от наследственных колоннад и тому подобной недвижимости, посудите, господа?

Вот и служит Генделев необременительно врачом при клубе водного спорта, народовольствует по маленькой, выпимши,

(а музыка: Лариса Герштейн и Леня Нирман — уехала музыка. Она — вокал — в Хайфу и стаккато — в Мюнхен, он — импровизация — в Тулузу.

А слова — корчит тело России — остались.

— Миша Генделев, чей ты сын?

— . . . . . ты, Миша Генделев!)

отчаянно грезит, какова была бы доля, отвали он в Землю Обетованную, о которой он изрядно накатыл в точную рифму, а что? Многим нравится.

А в связи с общими позитивными, кто же спорит, изменениями культурной и гражданской жизни Страны — вытанцовывается вот-вот и дюжинка самоих, как принято говорить, «текстиков» в отечественной периодике. Диетических по части маранства.

Но и не без подтекстника: нумерующийся Рим там, опять же Ниневия...

Подлысел, что говорить, инфарктик в юбилейных тридцать три, «побегаем по стеночкам по собственным застеночкам» — депрессийка в юбилейных тридцать семь. Все путем. Все как у людей.

А ведь — пришел! Превозмог — пришел на гастролера!

— Вот уж не ожидал.

— Обоюдно.

Поцеловались.

Особливо с Леночкой.

Говорят, имел место и диалог, пропущенный машинисткой при перепечатке.

Если честно, Генделевым вечер не понравился. Не пришелся как-то...

— Претенциозно, — поделился Миша с женой.

— Пожалуй, гуленька, — сказала неувядающая Леночка, — крикливо.

— Есть находки, — объективно подытожил муж.

— Есть удачные строки, — закончила жена поэта, — но крикливо, гуленька.

Пришла Елена Игнатова.

Как встарь — ложноклассическая-в-шаль, даже когда и без.

И чего там, если не выносила Елена Игнатова стихов Мишеньки.

Чего там, через одиннадцать-то лет.

Чего там.

Пришел Аркаша Драгомощенко.

Верлибрист, брахицефал, лукавец. Загар на Аркаше калифорнийский, «сафари» на нем, хоть апрель и прохладно, — только что из Североамериканских США, по приглашению университета лекции о себе читал.

Солидно посетовали на малотиражность западных изданий.

До начала с вечера смылся; как сказал ехидный Кривулин: обиделся Аркадий, что не самый он тут загорелый.

Пришел Сережа Стратановский.

Самый страшненький, самый тихий и самый образованный из ленинградских.

Пришел послушать израильянина.

Пришел, послушал.

Маэстро Кривулин.

Сызмальства хром и кособок — полиомиелит.

Про него апокриф: устраивался на службу.

Преподавателем эстетики. В медучилище. Ну, завучиха присмотрелась, простая душа, брать раздумала и — сморозила: помните, как Чехов говорил, мол, в человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежды... и — осеклась.

— А! — продолжил Кривулин — и ноги, и руки...

Но время, поэты!

О поэты!

Время метать камни — и время уворачиваться от них.

Время жить — и время выступать.

Съезжались.

Мэтры, киломэтры петербуржской Школы.

На вечер своей иммигрантской поэзии.

Пришли господа поэты.

Или не пришли.

Леночка Шварц, например, не пришла, потому что траур: Нобелевскую премию дали не ей, а ней.

Анри Волохонский не пришел, потому что, пожив в Тивериаде, — в Баварии.

Живет в Баварии.

И Бурихин там.

Хвост, Алеша Хвостенко, — в Париже.

(Уфлянд пришел — вот и познакомились.)

Аронзон не пришел, потому что в могиле.

Лившиц работает профессором Лосевым в США.

Охапкин в дурдоме на Пряжке.

Рейн — течет в Москве.

И Миша Еремин в Москве.

Куприянов — при Русской Церковной Мысли, — такое впечатление, что она — Мысль — одна, а он при ней староста церковный.

М-да... Ленинградская школа.

Я твой прогульщик.

Дневник на стол!

Бродский пошел на свой вечер.

А мы пошли на вечер памяти своей.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ,

*где как мы, в сущности, далеки от народу,  
а слезы сохнут в теплую погоду*

И пришли прозаики.

И драматурги даже.

И неизвестные никому, и графоманы.

Из квартир, котельных, с университетских кафедр, из вечерних школ для дебилов, из ничего, с того света из смерти и памяти, пришли.

И привели с собой своих девочек, наших девочек. Тех, что в слякоть, без никакого белья, подтянув единственный капрончик, и — стакан водки, и соперницу-красавицу-суку мордой об стол — пришли девочки.

Не могу продолжать, *работай!*

Рыдаю.

Хоть святых выноси.

Бывало, куплю *Голду* по пять с полтиной, ситного там какого, в ночном супермаркете на *Бейт-Агрон*, чайной колбаски там, сырок плавленый, сяду у фортки в хамсин — и рыдаю.

А слезы сохнут в теплую погоду.

Нет сил писать о том, как время летит, чистая молодость проходит, жены уходят — нет сил, и слезы и те сохнут.

Потому и эпик, что нет сил, нет слов, нет букв их описать, наших девочек... «Неужели я тоже так выгляжу?» — подумал Генделев.

Но выглядел он не так.

На сцене ДК Крупской израильтянин Генделев выглядел очень экзотик: хорошо выглядел. В ширинной с ладонь алых подтяжках имени Боевого Красного Знамени выглядел он. И довольно нахально заявил он, априори, что не русский поэт из Израйля сей Миша Генделев, а израильский поэт из России Генделев Миша он. Смех в зале.

Но обошлось, отвлекся, заволновался поэт, пошел в винт и начал читать все-таки по-русски

еще — этим, пришедшим на вечер какой-то эмигрантской, а не его поэзии.

Я к вам вернусь — читал, читал он стихи, ровесные полнолуной ночи Неве-Якова 1982 предвоенного года, пятого года нашего Израиля, — читал Генделев:

Я к вам вернусь  
еще бы только свет  
стоял всю ночь  
и на реке кричала  
в одеждах праздничных  
— ну а меня все нет —  
какая-нибудь память одичало  
и чтоб  
к водам пустынного причала  
сошли друзья моих веселых лет...

Кто? Чур, не мы! Кто знает, о чем и что думал в этот миг Генделев, о чем вспоминал?

Может ли быть, что был он счастлив в первый раз в своей последней жизни?

Может быть. А не исключено, что он думал, что совершить что путное в России и попросту заставить себя в России слушать можно, лишь воротясь из эмиграции, как тот, второй муж товарища Крупской, и не пора ли приняться за апрельские, кстати, тезисы, пока не поздно и такой завод?

Не исключено.

И что нет пророка ни в каком своем отечестве?

## ВЕЛИКОЕ [НЕ]РУССКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Или он вспоминал все-таки о той душевной ночи горного предместья Горнего Ерусалима, когда сочинялись, то есть придумывались, эти стихи?

А может — и скорее всего, — он ни о чем не думал и ничего не вспоминал, а читал и наконец дочитал до конца:

Я к вам вернусь  
от тишины оторван  
своей  
от тишины и забытья  
и белой памяти для поцелуя я  
подставлю горло:  
шепчете мне вздор вы!  
и лица обернут ко мне друзья  
чудовища  
из завизжавшей прорвы.

*Конец третьей книги*

## КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

### ГОСПИТАЛЬЕРЫ

Некогда с милой отчизной своей разлученный,  
Снова на сладостном ложе покоимся вместе.

*Гомер. «Одиссея»*

#### ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ, *где исполняется четюю молокан* *Кабул-канкан*

О завтраке не было и речи. Пил морс, если кто запомнил — старинный северный напиток — декот клюквы — кисленькое с подоконника.

Срам, эк вечер выплясывали, теряя талантливо-го поэта Кривулина, — срам! Начитанные, думающие люди, цвет нации.

Паршиво. Паршиво, говорю, холеный, избалованный левантийской зажиточной жизнью, паршиво адаптировался Генделев к исторически отлаженным полевым условиям бывшей отчизны: Генерал Мороз, Дубина Народной Войны, Веселие Руси... Паршиво!

Гадко!

Вот кто, например, привнес во вчерашнее суаре спирт-сырец ф-ки «Северное сияние»? Гордость отечественной парфюмерии? На дам не похоже. Хотя способны. Способны и могут. Одна девушка, Кац ее фамилия, визави, все время кормила грудью. Шушукались, что у молодки это — седьмой, молодая чета поэтов Кац — молокане. Восстановим последовательность: сначала «сияния» стакан, ниже (специально для Мамлеева, пусть он и описывает) — дитя-олигофрен, потом — собственно мамыши деревянный крест, еще ниже — крестильный крестик-панагия малыша (грамм двести дикого серебра), а еще ниже, уже ни на что не отвлекаясь, — бесконечная девушкина голубая грудь. На рыбце. На рубце? На холодце?.. Визави.

— Ты что-то, мил-друг, у меня серый? Хочешь какао?.. Обволакивает...

— Спасибо, мама. Мне хорошо, мама. Мне дивно. Я чувствую себя. И не хочу какао. Мама.

Досконально восстановим последовательность. Читали. Вообще, когда у них, в Ленинграде, говорят «читали», почему-то всегда подразумевается — декламировали. Тексты декламировали. И по, образно говоря — кругу. Такие меткие, такие сатирически- — читали — политические тексты, очень заводные, «Биржевые ведомости» с руками оторвут. Что декламировали.

Потом — оплошность. Некто М. Г. ввязался в безобразный скандал с одним поэтом (С. С.) со-товарищи. Сотоварищи стояли за немедленный, вы слышите, м'лст'вые г'с'дари, не-мед-лен-н-н-н-ый вывод временного контингента СА из Кабула. А этот, некомильфо, был против не-мед-лен-н-н-н-ого, смехотворно мотивируя, что афганцев, представьте, жалко. А там наши мальчики гибнут...

**М. Г(енделев),**  
*тенор, стоит:*

...Вот отхильнут ваши  
буденновцы из Афгана,  
хлынет такая кровушка  
басурманская...

**поэт С. С(тратановский),**  
*альт, отмахивается:*

...Мало...

**поэтесса Е. И(гнатова),**  
*контральто, раздумчиво:*

...мало ли кого жалеть.  
Там наши мальчики гибнут.

**прозаик Е. З(вягин),**  
*бас-профундо, борода стоит  
по пояс в салате «7 ноября»:*

Если каждого жалеть, то  
сломается... а?  
Коллеги?..

**поэт В. К(ривулин),**  
*лирический баритон,  
автоматически:*

...медведь.

**поэт В. Ш(ирали-заде),**  
*драматический баритон,  
из-под груди наваленной  
верхней одежды:*

Скелеть!

ВЕЛИКОЕ [НЕ]РУССКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

**поэт С. С(тратановский),**

*альт:*

...Весь кайф.

**поэтесса К(ац),**

*сопрано:*

Кровать!

**младенец,**

*дискант:*

А-а-ах!

**М. Г.,**

*тенор:*

Мечеть.

Сами вы вляпались...

**хор литераторов:**

Мы?!!

**М. Г., обличительно**

— *тенор:*

Вы, вы, а кто ж!

Развалили их сортир,

Большие Белые Братья —

теперь облизывайтесь!

**поэт К(ац),**

*сопрано:*

Чем иметь.

**поэт В. К(ривулин),**

*меланхолично:*

Что «чем иметь»?

**поэт К(ац),**

*скандируя:*

Если каждого жалеть,

то сломается, чем иметь.

**поэт В. Ш(ирали),**

*тоже почему-то сопрано:*

Мудоид.

**младенец:**

А-а-ах!

**М. Г.,**

*все еще тенором:*

Сабра!

**поэтесса Кац,**

*визгливо:*

Пьянь! Сами вы, Виктор,

пьянь!

МИХАИЛ ГЕНДЕЛЕВ

**поэт В. Ш.,**  
*из-под шуб:*

Пень. Пьянь-Пень. Столица  
нас, красных кхмеров.

**тенор М. Г.,**  
*фальцетом:*

Шатила!

**поэтесса Е. И.,**  
*контральто:*

Оставьте чурок, дружок,  
там наши мальчики...

**тенор М. Г.,**  
*петухом:*

Шатила!!!

**прозаик Е. З.,**  
*бас-профундо:*

Чурка, он и есть чурка.

**М. Г.,**  
*тенор:*

Уши! Уши! Маринованные!

**поэт К(ац),**  
*не своим голосом:*

Чьи?!

**М. Г.,**  
*тенор:*

Чьи, чьи! Человечьи, чьи!  
В банках, подростки тор-  
говали, нет, не купил, или,  
если желаете, на подносе...

**младенец:**

А-а-ах!

*(вступают струнные)*

**поэт В. Ш.,**  
*драматический баритон,*  
*с интересом:*

А почему?

*(вступают щипковые)*

**альт поэта С. С.:**  
**поэтесса Е. И.,**  
*контральто:*

Там...

...наши мальчики...

*(вступают ударные)*

## ВЕЛИКОЕ [НЕ]РУССКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

**поэт К(ац),**

*сопрано победоносно:*

*...гибнут!*

**тенор М. Г.,**

*вяло:*

*...на подносе...*

**хор литераторов:**

*Если каждого жалеть,  
то сломается комедь!*

*Затемнение, полногolosие:  
«Поднявший меч на наш Союз...»*

*(ЗанавесЪ)*

### ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ, в которой христиане-фалангисты тоже — по-своему — стилисты

Плакал потому, что нарушалась причинно-следственная связь. Плакал, потому что из-под век вытекали слезы. А не наоборот, слезы текли потому, что плакал. Не важно. С логикой это бывает, да и какая тут логика. В темных очках работать невозможно.

Так, что лязгали челюсти и сводило тяжи затылка, приходилось выпяливать подбородок и, задирая лицо, пытаться удержать на гримасе, в рельефе, жижу пота и слез, а потом стараться перехватить, подхватить эту грязную горячую каплю тылом скользкой голой руки между перчаткой и бронежилетом.

Забывал, закидывая гримасу к масляному, на всю сковородку распустившемуся солнцу — забы-

вал зажмуриваться, и в смотровых щелях, в слепых алых полях зрения, гуляли, как хотели, амёбы черных слез, мучительно лениво сплываясь, стекая к дыре стока, — а проморгать, — глаза фиксировались на пятне меж дверец растопыренного, как роженица, *амбуланса*.

Из пятна, из маточной тьмы торчали огромные десантные ботинки.

В дыру, в брюхо *амбуланса*, с глаз долой, вогнав головой вперед Эйба — отлично *заинтубированный* и упакованный в счастливую сорочку — в пластиковый мешок — труп Абрахама (Поля) Бен-Ора (Энзе) *зих'роно ле В'раха* (октябрь, 4, 1935, Антверпен — сентябрь, 14, 1982, Бейрут); мешок с капитаном ЦАХАЛа Эйбом Чомбе.

Сам и *интубировал*. Хотя, если похолоднокровней, можно было и не *интубировать*, мартышкин труд: входное — палец по медиане левой скапулы вниз, выходное — с тарелку с кашей.

По-русски это называлось *самоволка*. Сам русский отгонял тяжелогруженых мух и интеллигентно читал в хрестоматийном тенечке бронетранспортера. Гейне, как сейчас помню: «Она была ему любезна, и он любил ее, но он не был ей любезен, и она не любила его» — и непрерывно курил почти даровой беспощинный житан, смоля одну от другой, «он не был ей любезен, и она не любила его» — а курил, потому что натошак хваленый

средиземноморский бриз, должный освежать, волок на себе мух и сладкую вонь из-под неразобранных развалин западных кварталов «Марсея Ближнего Востока», после летних бомбежек многих не откопали, и кошки иногда встречались с пятачками в зубах. Поначалу в котловину лупили от не фигур делать часовые, но *магад* запретил, а русский проследил — стрельба действовала на нервы, и ключья барсиков приходилось убирать, поэтому кидались кирпичами, впрочем, я об этом уже однажды писал.

Пришел Эйб Чомбе, тогда еще абсолютно живой, белокурая бестия, натуральный франконец, крестonosец, *гер*, ровно центнер тренированного хозяина кондитерской в Натании, наш комгруппы прикрытия. Пришел уговаривать смыться. В самоволку. Хороший офицер прикрытия.

Хороший офицер прикрытия.

Эйб успел наиграться в индейцев где-то, кажется, в Киншасе и поэтому — Чомбе. Избыточно красивый мужик, русые патлы по плечам и собственный именной кольт. То, что это — именно кольт, веселило русского, тяжелая дура, в довесок к обязательной «метле» — автоматической американской винтовке, веселило и то, как, инструктируя патрули, Эйб самодеятельно отменял и нестрогий запрет на патрон в стволе, и формальную инструкцию о предупредительном выстреле.

Забавляться Эйбовыми мужественными повадками русский перестал, когда три дня тому назад привалила орава магометан к посту при воротах. Базар: о чем-то серьезно галдят, подошел — вытолкнули навстречу неумело перевязанных пацанов. Рутиня: оторванные пальцы, у второго башка замотана, как капуста, третий просто зеленый с красными прыщами ужаса. «Нашли сыновья любви нашей гранату...» Отода! Не в первый раз: собирали юные техники какую-то пакость, в нас же пулять — взрыватель в руках сработал, не первый раз, чай, хорошо, не вся бомбахерь грохнула, а может, и зря, что не вся. И даже, пожалуй, — жаль, что не вся. Давай, русский, давай, доктор, пользуй — клятва Геродота.

Всех этих пострелят Западного Бейрута сносили к нам, оккупантам. Западно-восточный диван: мусульманам везти раненого же мусульманина через христианские кварталы — смешно подумать — зарежут. До первого чек-поста фалангистов и довезут. Там едва ль совершеннолетние мальчики, неуловимо похожие на котов-людоедов, нежноликие, неопушенные такие мальчики, носители французской традиции и аромата косметики «Арамис», в отутюженных дома руками сестер и матерей своих мундирчиках — гаденыши. Добьют с удовольствием компатриота.

Все так в этом христианнейшем и мусульманнейшем из миров,

где школьницы предместья улыбаются, зайники, выбитыми резцами — очаровательные щербатые смуглянки, — это их ухажеры из ООП отметили изнасилованных, чтобы второй раз не пачкаться: сделано;

где друзья отличные стрелки, если в шиитов.

Православные арапы, арабы римской веры, марониты, армяне, *Мусульманские Братья* — помойка.

Богатая, на любой вкус.

Восемнадцать милиций, и каждая себя бережет.

А мать-земля — плюнь в нее, ну плюнь в нее! бесстыдно плодородную — жадную до протоплазмы, плюнь в обожравшуюся плотью землю Ливана, и к утру взойдет дерево слюны твоей, кровавой харкотины. «Труп посадишь в Садах Аллаха, и к утру зацветает труп».

Короче, по-солдатски, говоря, пользовали детей Ишмаэля только мы, оккупанты. На весь Западный Бейрут — только мы.

Арабы базарят, арабки воют, арапчата хнычут. Когда из толпы выкатился еще один малец, — русский не понял, не успел, не умел понять. Он — единственно и понял, что вжимается, распластан

крестом — в стену, один, и на него, глаза в глаза, люто плача, взвизгивая — глаза в глаза, — идет, пританцовывая, небольшой грязный подросток с неудержимым в руках, непропорциональным акаэмом. А из дергающегося дула дует бесцветным, но все равно видимым пламенем. С четырех метров. Из стены сыплется штукатурка (наверное, разрушается стена), мелко одает жаром, из-за глазницы вышагивает, широко шагает, как по горло в воде, спокойной глубокой воде — длинно шагает Эйб, тяня по дуге снизу автомат (не успеет) и у пацана разбрызгивается плечо, вздергивает и подкидывает его куклу вверх и к обочине, к окантовке глаза, и пацан садится переломленный неправильно в середине груди — снятая с руки, да-конечно-кукла, пупаццо, кукла в пурпуре и розовом — арлекин.

Пришел Эйб и уболтал в самоволку. Не совсем, конечно, в самоволку, но не поощряется. В Восточный, в мирный Бейрут, в веселый Бейрут, на самую волю. Эспланады, арабески, все открыто, все полно. Никакой войны.

У Эйба в хозяйстве был нигде не числившийся и потому неподотчетный, притыренный то есть, «трофейный» «сузуки» — легковой вездеход.

Приехали, сели в «Принце Уэльском», под тент, заказали настоящее мюнхенское «биир», сервировали морской вид.

Только отдули пену — писк, рация. Магад матерится по-чешски, вполне отчетливо и узнаваемо: взрыв в кофейне левомусульманской милиции, нам обещаны кары, а кофейня аккурат полпути между нами («Принц Уэльский») и ими (карами магада) и чтоб гнали прямо, где взрыв, а что гнать, минута езды.

Подрулили — дым еще не сел. Толпа — не протолкнуться, в низкой темноте до потолка кислородная взвесь: «эриджи» (РПГ, сов. производства).

Однако опоздали: вошли к милиционерам их конкуренты, то ли шииты, то ли марониты, то ли наши союзнички, коллаборационные ребята майора Хадада, поди разберись, — уже вошли и от руки выполнили незавершенное: на возвращенном в нормальное положение столике — поднос, на подносе небритая голова в куфие. Просто как дети, чистое дело. И куча, не в переносном смысле, а как раз в непереносном — разнообразных раненых, есть тяжелые.

Замечательное стало тогда у Эйба лицо — как сквозь марлю.

Уже подтянулись наши госпитальеры, раскидывают перевязочную, проталкиваются с носилками, магад прикатил, только оком зыркнул, русский к охающей тетке полез, занялся.

Подползли две громадные, если сблизит, меркавы, покачали хоботами, один танк бабахнул по-

верх голов, для острастки, значит, будут здесь же, на футбольном поле американского колледжа, сажать санитарные вертолеты — и много раненых, много.

Из-за гама и шума моторов выстрела никто не слышал. Стреляли из толпы. Эйб стоял раком, помогая приподнять носилки с грузной арабкой, раненной в шею. И сразу лег на тушу, толстуха отпихнула убитого, скатила с себя.

И заверещала.

Входное — палец по *медиане левой скапулы* вниз, выходное — с тарелку. Не нужно было интубивировать.

Многие, особенно молодые люди не знают, конечно, как выглядит отрезанная, бритая человеческая голова в куфие. Им это нужно знать, чтоб живо представить себе голову, скажем, Иоанна Крестителя, или Михаила Берлиоза, или другого какого литературного или культурного героя. Хорошо: свежеотрезанная голова крупного восточного мужчины не стоит на плоскости подноса, как, например, гипсовая отливка, а как бы лежит на ней, чуть притоплена, полулежит на оплывших щеках — отделять череп от шеи легче всего высоко, на уровне атланта в атлантоокципитальном сочленении, так что голова кажется откинутой. Крови почти нет, артерии пусты, вены спались. Но в тканях лица — венозный застой, книзу лицо кажется набрякшим, щеки тяжелые, лоб и

виски бледнеют, нижние веки чуть опадают, в уголках глаз и от губ — сукровица, нижняя губа свободно приоткрывает розовые зубы. Тем не менее выражение лица спокойное, даже ленивое. Глаза с налитыми склерами не убежали под лоб, взгляд рассредоточенный, не требующий встречного, легкий, из глубины пыльной и задымленной кофейни, взгляд с подноса на светлую улицу и небо с равномерно распределенным солнцем, к которому поминутно, так что сводило затылок и лязгали челюсти, закидывалась, обращалась мокрая гримаса — в солнечных очках работать невозможно, «он не был ей любезен, и она не любила его».

### ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ,

*где полумесяц так и льнет к щеке Большого Друза  
Советского Союза*

«...на подносе! — орал М. Г., бия себя в бритую, смуглую грудь: голова в кувшины на подносе! Это восток, господа, ручная, так сказать, работа — этот восток!» — бабочку М. Г. держал в кулаке и кричал, заходился так, что поэту Генделеву стало неудобно, а из заворота коммунальных кишок квартиры в слоеную (дым еще не сел) от беломора, но все равно как салют ослепительную кофейню (камеру, комнату!), с пьяными дядями и красивыми тетями врулил на

трехколесном велосипедике голый совершенно, хотя и украшенный брильянтовыми подвязками соплей, соседский пятилетка и попросил: «Тихо, бляди, чтоб! отец со смены пришел!» — так орал М. Г.!

Далеко ли до беды, государи? — пришлось призвать нейтрального, к позициям спорящих сторон, позиции определились:

*белые:*

«там наши мальчики гибнут», ладья В6. Шах!  
(вариант «чурка есть чурка»), слон Е2. Шах!

*черные:*

«сами насрали, сами и убирайте», конь В7,  
цугцванг, пат (вариант — «без вариантов» — пат!) —

пришлось призвать нейтрального, «третейского», как удачно сформулировала лирическая поэтесса, молоканка Кац — отыскать пришлось Бахыта (вот!) Кенжеева из Канады. Третейский поэт Бахыт отвлекся от процесса извлечения из-под плоского тела санкт-петербургского поэта Виктора Гейдаровича Ширали-заде заначенного деликатеса, бутылки валютного вина киндзмараули и рассудил, что, райт, чурок, конечно, жалко, но! и наших мальчиков жалко, райт, и все выпили реликтового вина за ничью, за великую недели-

мую русскую словесность от Айги до британских морей, олл райт? и спели хорошую песню Булата Шалвовича Окуджавы.

Моцарт на старенькой скрипке играет,  
скрипка играет, а Моцарт поет... —

ревел, синагогально раскачиваясь, Михаил (Самюэльевич) Генделев Умиленный. Как это там: «мы еще разберемся», — выкрикнул давеча из зала на вечере иммигрантской поэзии Виктор Кривулин на филиппику Генделева, что он-де «поэт израильский» — «мы здесь разберемся, кто здесь русский поэт!».

А когда все спели и отдохнули, Сам — Автор влез на стул и отдал приказ по армии искусств сплясать во дворе обериутский канкан:

Воображаю ваше состояние  
вы девушку убили топором  
и на лице у вас теперь страдание  
которого не описать пером... —

и потеряли Кривулина.

Припозднились, но если, и в этом вся соль фокуса, — если преклонить бухую голову к плечу отчизны — чуркестанский 1/2-месяц лежит как живой — на спинке, что покуда наблюдалось исключительно на Ближнем Востоке (опять же если кто бывал).

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ,

*о том, как сводят мост, о — там, где в моде Трошкин,  
о том, что всяк герой — он, в сущности, хороший*

Спать расхотелось.

Машина стояла в сбившейся стайке себе подобных, дверцы настежь.

Пахло водой и мазутом.

Ниже решетки, в яме, проносили гигантский аляповатый макет сухогруза, чуть не ободравший грязные огоньки о косою козырек моста.

Со сна, с похмельного бодуна, от мерзкой сырости колотило — спички ломались.

Беспризорное тело устраивалось как могло, по привычке, по памяти: губы кратко, силло дунули в мундштук, пальцы,

так-и-так —

отдавили его, клыки закусили, щеки втянулись.

Но — дернулись бронхи, подлетела диафрагма — одним движением: жабры с потрохами и пузырем, и руки об фартук; чудом — мучительно не вырвало; кинул в реку откуда-то взявшуюся папиросу.

Крепкую, грубого табака сигарету с полым картонным фильтром.

Адаптация.

Мост свели. Вернулся водитель, посвежевший, тугой, пахнущий корюшкой; со вкусом загермети-

зировался. С полуфразы запел Трошин. Тепло, по заявкам воинов-интернационалистов: «А вокруг-ни-людей-ни-машин-только-ветер-и-снег...» Припев — с начала, до конца и с начала — месяцами тянула Елена на последнем году Неве-Якова: «А вокруг-ни-машин-ни-людей...» — тянула, как шелкопряд.

Но сейчас пассажир — ехали по Кировскому домой — улыбнулся, и улыбка так и осталась до «дому» — неубранной.

Все резче, все чаще возвращалось к нему ощущение себя персонажем.

Он читывал о подобном когда-то, но — как о чужой любви, никогда не примерял это ощущение к себе: себя — персонажем, соучастником, объектом не им сочиненной истории, предметом переливающейся, прерывистой словесной массы — прозы, конечно, — поверхностной, неточной, графоманской в своем мажущем мимо, приблизительном многословии. Когда автор, наверное, не знает, ну-с, что у нас будет дальше, и судорожно, на ходу, перекраивает поступки, походя берет назад реплики, по многу раз переодевает в неудобное, в не-свое, не в свое. А потом пренебрежительно отпускает, опускает — в многонедельную неописательность, невнятность, чтобы — пока сам занимается чем-то другим, пейзажем, например, или другими, и сколько их там, других? персонажами этой, одному ему интересной исто-

рии — чтобы вдруг! одернуть его, героя, выдернуть из: «Хватит! к ноге!..»

И от этой унижительной беспомощности уже даже и неважно кем, но — для кого? — написана и какому страшному, чужому застолью будет прочтена — повесть? Узнает ли он сам конец ее? или ему дадут ее дочитать, на одну ночь, брезгливо-снисходительно, ему, ненужному, неглавному, да и вообще сбоку припеку в не-его истории этой? А если автору станет скучно — спихнет с глаз долой, и дело с концом! Как он сам — и сам ли? — собирался: с глаз долой, в Замбию, наемником, чертом в ступе и — дело с концом!

Что делают персонажи, когда автор забывает о них? В известковых лазах черепа, продутых черным низким ветром, в проходах и переходах, отполированных летучим песком — сухой кровью Синая, сидят они, и он с ними, голыми или одетыми в вышедшее из моды, в обноски; сидят враскоряку, привалясь пыльными мертвыми спинами к косяной стене, без выражения на физиономиях или вообще — с забытыми в главе одиннадцатой ужасом, с нежностью (книга седьмая, см. ниже) одной ночи, с вопросом, ответ которому забыт: проехали! А что делают наши разлюбленные любовницы, наши убывшие близкие, наши умершие? Персонажи наших снов — днем?

Повторно укладываясь спать, примеряясь к раскладушке, приняв аналгин и почти протрезвев, он

не отрубился сразу: вспоминал, когда впервые застигло его это мертвенькое, интересное, как десна при анестезии, чувство.

И вспомнил.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ,  
*как в парадайзе пахнет бастурмой,  
или о том, как возвращаются домой*

Вспомнил!

В пузатом транспортном самолете за день до того возникшей и просуществовавшей недолго, месяц — много, авиалинии «Бейрут — Лод». Линии — пассажирской, кажется, только для вояк, скользящих по канализации этой игрушечной войны, — туда, на войну, и, в отпуска — обратно.

Конечно!

В толстенькой, стеганной изнутри трубе транспортника, с лавками по стенам, как в ностальгическом трамвае, и «она была ему любезна, и он любил ее, но он не был ей любезен».

А на самом деле, не тогда, а еще днем, через пару часов после гибели Эйба Чомбе, — раненых уже упаковали и отправили — и он, так и не дождавшись очереди в душ, сидел, от усталости и равнодушия не уходя с полуденного солнцепека, и пробивал по две дырки в банках компота — ананасного и грушевого, сливал сироп и пил, смешав с водой, мезозойскую эту бурду.

Испоганил поддюжины жестянок, не интересуясь фруктами и не напиваясь, — только разбух.

Да, и вот именно тогда, походя, поманил магад. Русский поплелся за ним.

— Поедешь домой, — буркнул Швейк.

— Не хочу.

— Ну?

— Не хочу. Завтра, может быть. Спать хочу, — шепотом, боясь спугнуть, сказал русский, проследив по шороху ящерку-геккона, мгновенно, на кадр, показывающую себя из-под вороха оперативок. Еще в вагончике-караване штаба стоял огромный, антикварный, подобранный в развалинах телевизор «Телефункен» и почему-то самовар. «Ночью Швейк пьет чай с гекконом», — подумал он и еще подумал, что это плохая гарнизонная проза — вся эта поебень. В прозе — чужой, по крайней мере, — русский разобрался.

— Сейчас, — сказал магад.

— Завтра. Я устал.

— Поедешь, — не меняя интонации, сказал магад. — Вернее, полетишь. С терминала. Все. Вернешься через неделю... через шесть дней. Все.

— Мерси.

— Иди умойся. Доктор. Выглядишь как...

«Гандон снятый», — додумал русский.

— Да! — окликнул Швейк, когда он уже шагнул. Русский не обернулся. — Да, похороны завтра

в десять, на муниципальном в Натании. Ты знаешь Орит?

Так на самом деле звали Рики, жену Эйба Чомбе, но «Орит», считала Рики, ее старит: Рики лучше. И красивее. Но магад был педант. Дальнейшее ясно. Хер! Не поеду в Натанию! Ни за что не поеду! Еще и Рики, Господи! И дети — старшему четырнадцать, в прошлом году была *бар мицва*. Не поеду! Тики-тави. Чик!

— Нет.

Магад не отреагировал.

— *Yezd'!.. I smotri, ne rey mnogo stakanchikov slivovits, piz-da-mat'!*

Единственный, кто в их команде не называл русского «руси». Педант.

Русский умылся. Потом еще три часа ждал джипа. Потом мотались по расположениям. В *Монте-Верди* взяли двух капитанов военной полиции, толстого и тонкого, потом ездили к «переводчику» смотреть его ребенка (краснуха), потом стояли в диких пробках, потом объезжали — по километрам, выскочив на встречную полосу перед запрудами бесчисленных чек-постов, — бесконечные вереницы «мерседесов»: любимая машина наших северных соседей, миролюбивого ливанского народа, истерзанного долголетней войной, — грязный «мерседес» последней, естественно, модели, украшенный бубенчиками, с выбитым (желательно) стеклом, с бабехой в розовом золоте на заднем

шевровом сиденье... Хорошо бы с подножки дать сапогом по ебалу вон тому обаятельному, в оливковом френчике, а еще лучше (Боже мой!) не сапогом... Не соображая, что делает, русский потянулся к предохранителю. Сидящий рядом с водителем «переводчик из наших» отчетливо напрягся — очаровательного во френчике как сдунуло, — и два капитана полиции заинтересованно посмотрели на русского доктора.

Фу, черт, отпустило! Ни хуя себе...

— Ты что? — спросил по-русски толстый из капитанов. — Растрясло? Рыгать хочешь?

— Не. О'кей-о'кей. *Беседер.*

— Тогда на! — Толстый вытащил початую бутылку «Бурбона». — Десять зелененьких! — объявил он гордо и счастливо засмеялся, будто сам организовал беспощинную раздачу. — На! Откуда, земляк?

Русский отрицательно мотнул:

— Из Питера...

— А я из города на «А». Из Черновиц.

— А-а... — от усталости попался русский.

Толстый счастливо захохотал.

— *Ropітауи ро-russku*, — сказал тощий из капитанов, по виду йеменит.

— Живут арабуши! — Толстый ткнул в ломящийся, в цветных гирляндах иллюминации, грохочущий куб ресторана «Парадайз». — Нам бы так! Парадайз, блядь!

— Bliad'! — залился тощей.

— Во-во!

Разговор не вытанцовывался.

Уже в сумерках вырулили на терминал, прямо на взлетные полосы, лихо, слаломом, почти ложась на борта, обвели остовы горелых вертолетов — Бейрутский аэропорт брали совсем недавно. Для красоты дважды объехали жирное аутодафе бывшей «Каравеллы» — давеча зарево было видать за километры. На терминале воняло: паленой резиной, острым лимонным духом перемолотого неподалеку цитрусового сада-пардеса, гарью железа, большим воздухом широкого бетонного пространства. И жареным мясом. Довольно отчетливо. Русский вспомнил, что не ел с утра, его замутило.

То ли опаздывали, то ли из-за присутствия полицейских капитанов — досмотра не было. «Толстый прав. Надо было купить бутылку», — пожалел русский.

В Лоде сели ровно через сорок пять минут. Сели скромно, сбоку, чтобы не мозолить. Бочком за праздничный стол исхода субботы. Зевая, русский поплелся к аэровокзалу. «Международный аэропорт Бен-Гурион». Навстречу вышагивала сборная финнов — все огромные, белые, как китайцы. То есть на одно лицо. Не левантийских черт лицо. Тьфу! Похожие, в смысле, друг на друга. Его не хотели пускать в зал с автоматом. Отбоярился, сдал

*битахонщикам* («секьюрити», значит) магазины. Вошел, щурясь. Света так много, что там, где световые потоки накладывались друг на друга, казалось даже чуть сумрачно. Банный гам. Вавилонской городской бани гам. Господа и дамы — во все стороны сразу, демократично — вели под уздцы колесницы дивных цветных чемоданов, выюки роскошных саков, чехлы гардеробов; танцевали вверх хасиды, провожая своего святого; гоняли перевозбужденные — сейчас полетим! — дети с экзотическими, предрвотными шоколадом, зрачками; катался, как на роликах, скейтинг-персонал; мелко, но организованно шли японцы, улыбаясь вперед зубами; израильтяне, вообще вибрирующие перед не-Израилем, заранее полоумели; под мелодические такты разымались и возникали турникеты; гимназисты, отправляющиеся рейсом «на Амстердам, откладывается», сидя на полу, пели с пола что-то уже патриотическое, оглушительно-халуцианское, хлопали в ладоши... Всем было что-то нужно, причем немедленно. Ему, наверно, тоже — нужно было позвонить. Проломился, цепляясь за всех амуницией, к телефону. Любезно подарили, сочувственно и мгновенно — жетон. Лены не было дома.

Поволок себя по залам, съел черствую булочку, выпил гадкий кофе в кафетерии. «Международный аэропорт», тьфу... Навьюченный, пыльный, с каской и бронежилетом под мышкой, он,

на взгляд скандинавских стюардесс, выглядел, — но пользоваться успехом надоело, — опять проволочка по залам, долго рассматривал негра-епископа в темных очках, потом сообразил, что это тот его рассматривает. Потом опять позвонил домой. Не было дома.

Вышел к автобусной остановке. Тель-Авив. Там пересел на Тверию.

Поздно вечером и всю ночь напролет сидел на кухне Анри Волохонского, поэта, пил бренди, за которым сходили к соседям, пил много, не разбирая ел, врал, хвастался, читал стихи, безнадежно звонил и опять пил, хвастался и врал про войну. Дома, в Иерусалиме, объявился в понедельник.

Но он заснул еще раньше, в самолете, в мягкой трубе толстенького транспортника, он всегда спал в самолетах, даже в самых, казалось бы, для этого непригодных, — когда коротко и узко, и не вытянуть ноги, только свернуться калачиком. С тяжелого перепоя ему снилось что-то скверное, он нервничал во сне, ворочался, раскладушка визжала, мама, сделавшая вид, что спит, когда он заявился, полежала для блезиру еще минут десять, пережидая, чтоб сын, судить по дыханию, заснул, встала, в длинной ночной рубашке, подошла к раскладушке, долго и недоверчиво рассматривала его потное зеленоватое лицо при свете жалкого непогодливого ленинградско-

го утра. Потом с натугой, при помощи отцовской палки-клюки, затянула шторы и села в изголовье, глядя набухшую подушку плохо уже раскрывающейся, длиннопалой, обезьяньей рукой.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ,  
*где Сыну Блудному в доме его отца  
на брекфаст подали тельца*

О завтраке не могло быть и речи. Пил морс, если кто запомнил — декокт клюквы. Кисленькое с подоконника.

...«Воображаю ваше состояние...» — расслабленно, по памяти, процитировал Михалик.

— Воображаю! — неожиданно рассердилась мама, до того тихо, пригорюнившись, присутствовавшая на семейном завтраке. — Ты прожигашь жизнь, сынок!

— Да! — гаркнул из-за перегородки папа, не помещающийся третьим в — 2х2х2 — кухне.

— Мы с отцом надеялись, что ты остепенишься, ты же врач, доктор благородной профессии...

Как только заводили о медицине, человек благородной профессии начинал тосковать. С юности больных поэт не любил.

— Полмесяца как ты здесь, вдумайся, сынок!

«Два раза ногти отросли!» — вдумался в это удивительное обстоятельство сынок.

— И что? И где ты?!

«Где я?» — со вскипающим изумлением озирался мысленным взором Генделев.

— И что? — продолжала раздражаться мама. — Видим мы тебя?.. мы — тебя?..

— Может, это и к лучшему, родные мои, — указился сынок.

— Ты, мил-друг, как с цепи сорвался, пьянки, гулянки, чем от тебя пахнет, дешевыми духами!..

— «Северное сияние»... — начал было оправдываться сын, но — осекся: не поймут.

— Ты муж и отец семейства! Глянула б Леночка на твои художества!

«Глянула бы... бы... Леночка...» (Печатай, не отрывайся!) Щадя стариков — а на самом деле по трусости, — Генделев не осветил некоторых обстоятельств своей биографии, врал, как сивый мерин, письменно, а теперь — лгал устно.

— Прохвост! — к месту сказал из-за стенки папа. — Ты губишь свое здоровье на корню!

— На корню, о, как верно! — чуть было не кивнул головой Миша, но не кивнул — больно.

— И вообще, — сказала мать, — ты что, приехал в нашу страну вести себя как прощельга?

— Как прощельга, — эхом (есть такой синдром в психиатрии: эхоталия — дело швах!) отозвался доктор Генделев, как прощельга...

— Посмотри, как ты вызывающе одет, — хладнокровно добил отец.

— Тебе тридцать семь лет! — оплакала мать.

— Хороший возраст для расстрела, — тяжело согласился сын, подтянул в честь удачной реинкарнации девятикарманные палевые шальвары, приблизительно попал, по утра не меткий, в рукава курточки цвета перерезанного горлышка рассвета над героической Масадой, поцеловал мать, профилатически втянул в себя весь воздух кубатуры кухонки — и выдохнул только уже на улице, прямо в пасть шарахнувшейся страшной овчарке соседа-отставника.

— Здравствуй, Мишенька! — пропел косою, того еще отставник (зеки ему око выдавили). — Вернулся, Мишенька? А я тебя еще во-о-от таким помню...

— И я вас еще каким помню! — хамски, не оглядываясь, отвечивал волкодаву Генделев и поплелся по родному, имени Николая Ивановича Смирнова, бывшее Ланское шоссе, проспекту. Положительно, пора основывать собственное неформальное общество «Метому»...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ,  
*о том, как путника на родину послали,  
и прогрессии симптома эхололии*

Смеркалось.

Т. е. — светало, а вообще-то нашему герою было ровным счетом наплевать, что у них тут со светом.

Одновременно и болело то место над шеей, и хотелось пить.

Дегидратация организма.

(«Дегидратация», — повторил организм. Эхолалия...)

С разных сторон по проспекту шло не очень много людей.

Но шли советские люди по проспекту странно — в одну сторону.

И Генделев пошел с ними за компанию, и тоже в одну — их — сторону. Точка.

Параллельно пошел Генделев с ними, людьми, в одну их сторону — пересекаться в одной точке.

«Овощи». «Фрукты». «Вина». Нет, «вина» вымараем. А пива эмпирически нет.

Что еще пьют? Что-нибудь жидкое, если можно... И без газа. Ни! за! что! Никаких газированных растворов, ни-ка-ких! Никаких «shweps», «сосо-сола», «kinly» — никаких «Soda» — тоже — никаких! И не уговаривайте.

А зачем не допил морс?

Сосредоточимся, или, как в семнадцатой главе, давайте последовательно, айда! «Овощи». «Фрукты». «Дары природы». «Восточные сладости» (во-во!). «Цветы» (запоздалые. И не остроумно). «Соки». Соки! Соки — пьют. Томатный пьют, виноградный, яблочный пьют, березовый пьют, только невкусно. Из таких — я помню! — конических стекляшек, с пипочкой... А, адон Генделев?!

В магазине колом стояла очередь.

Сквозь весь магазин.

В свой черед выяснилось — стояла очередь за кубинской картошкой.

С Кубы.

То-то она — а поначалу было подумал Генделев, что это она от «Северного» литого «сияния» оранжевая. А она и вправду такая. Остров Зари Багровой.

А напротив братской картошки серьезно стояла большая, черная, злая русская очередь.

Одна про все. И все за одним.

— Слива... — начал было поэт, поперхнулся, якобы закашлялся и пошел себе вдоль хвоста — искать такие, стеклянные, конусы. Вертушка, знаете, стаканов, тетка с морковными ложноножками на руках...

Тоже мне — «слиха»! Так и опростоволоситься можно... (На него оглядывались.) Нужно как-то приструнить бес — и подсознанку. Наложить их, бедолаг, друг на друга и обвести по контуру, тютелька в тютельку, чем-нибудь остреньким. И — отлично! Отлично получится — сознанка!

Ну, и ладошки: сока в разлив нет.

Не бывает.

Отдел закрыт.

Мемориально.

«Жалуйтесь: “Детство. До востребования”».

Очередь одна — за кубинским «потато», барбудос идут в бардакос. А сок, оказывается, есть. Вот он — 2 карб. 98 коп., то ли по-украински, то ли по-

латыни: «Сік». «Сік виноградний». Вот что значит волево совместить.

Вот как, например, Генделев совместил: стал лицом к людям и обратился к людям очереди со следующими словами. «Господа, — сказал очереди Генделев, — мне ваша сраная картошка и даром не нужна...»

Произнеся, известный израильский литератор так удивился самому себе, что уже не смог притормозить, ручной заклинило и — выговорилось все до конца, только к концу пожалобней, но — до конца: «...мне бы баночку сока без очереди, а?..»

Молчала очередь.

Единственно дикторы эмигрантского радиовещания, отчетливо выговаривая пятый раз «-пиздист» в бархатном слове «физиотерапевт», да растлители после «приговаривается к...» — единственно они, сердешные, знают цену и долготу этих страшных молчаний. Пот окатил Генделева, и понеслось пред его внутренним взором, и лишь когда трассирующая память, пыхнув жалко, напоследок, как в ночи сигаретой, опалила щечки дочки Талочки, засиротевшей в отдаленном Иерусалиме, — когда память оставила наконец поэта в покое и он с достоинством подумал, что, в сущности, давно готово его Ка к слиянию с его Ба и при себе у него все, необходимое джентльмену в Неведомом:

расческа;  
международный паспорт;  
средство от AIDS (2 шт.),  
долларов сто  
и сигары, —

лишь тогда с причитанием *silentium*

.....  
..... и молчи! —

грохнулась об слякотный пол магазина тишина, а в очереди стало, наоборот, очень оживленно.

Особенно, даже сверх меры, заходился азербайджанского экстерьера покупатель, гулко, несколько противоречиво восклицавший: «Сока эму, да? Сочка захотэл, да? А я твой рот эбал, да?!» — и тут же, без цезуры: «Сока ему, нэт? Сочка захотел, нэт?» — и по кольцу: «Сока эму, да?» — по кольцевой без пересадки.

Мише, юристу Мише, хранителю сокровищницы родной речи, страсть как хотелось осадить темпераментного мужлана, указав, что тот заблуждается, заблуждается тот, поскольку онтологически некорректное «*ya tvoyu rot yebal*» куда как уступает несравненно более точному «*ya tvoyu rod* (т.е. маму, папу, бабушку, дедушку и т.д.) *yebal*», потому что идиоматическое это выражение парадигматически восходит к синтагме: «*yob tvoyu*

mat» — но было уже некогда, Генделеву было уже некогда, ибо из очереди уже выходил, выступал, выдвигался — поощряемый выкриками бабушек, разводов и вдов — удалой купец Калашников, в косую «Катюшу» в плечах и с народной, оттененной эпикантусом, усмешечкой (транскрибируемой тоже в идиому: «Ловить нечего!») на устах. И уже разминаясь, уже — и еще — прищурившись, оценив личину ворога-Жидовина, задразнился Батыр-богатырь, удалой и по всему популярный здесь купец Калашников образца тысяча-девятьсот-шестьдесят-третьего от Р. Х., выцедив с ленцой: «А убирался бы ты, сионистская твоя морда, в свой Израиль сок пить («Сік» — некстати вдруг выскочило с подсказкой, как подлиза — первый ученик, сознание — «Сік»)... в Израиль свой канай, соколюб!»

«Ладно», — покорно подумал, верней, быстро согласился Генделев: думать у него не получалось.

И:

— Я только что оттуда! — громокипящим (откуда что берется?) голосом возгласил соколюб. — Из Израйля!

И зажмурясь, дернул из набедренного кармана палевых шаровар «даркон», сиречь синекожий международный паспорт гражданина *Мединат Исраэль*. («На теле найдут...» — опять некстати вылезло сознание.) Открыв глаза, он

увидел, что очередь бежит на него. «Все!» — подпрыгнуло с места выскочка-сознание — и село.

С красной строки, пожалуйста.

Шатало.

Он выходил из магазина, прижимая к пузу уже откупоренную трехлитровую банку «сік'а» и, не чувствуя тонкого букета изабеллы, надолго присасывался к отверстию губами, а для прочности — и зубами.

Чтоб не плескало.

Не один выходил — в группе сопровождающих.

Дабы не напирали, купец Калашников баттерфляем отводил особенно назойливых.

Интересовались всем:

ценами на мануфактуру;

прейскурантом лик.-вод. изделий;

безграничными возможностями израильского собеса;

прейскурантом лик.-вод. изделий;

пенитенциарными учреждениями;

расписанием ковровых бомбежек Тель-Авива арабской авиацией;

прейскурантом лик.-вод. изделий;

почему арабов не перетопить, бля, в акватории Мертвого моря;

сколько получает покойный Даян;

есть ли в Хайфе творог и яички, и если есть, то почему и когда.

Воспаленный азербайджанец, стесняясь, поднялся до тайного признания на ухо, что он аид.

В ответ Генделев изложил свои аргументы в пользу «god'a» над «got'ом».

Калашников представился: «Валя». Можно также «Валентино» или, на всякий трагический случай, спросить «Вальку-самца». Обещалось, что спросят, если что. Вручали значки и награды:

Вале-самцу — значок «Шалом-ахшав»;

лже-азербайджанцу — бляха «Ай лав Нью-Йорк»;

догнавшей Веронике Никитишне — брелок отеля «Холиленд».

Калашников отдал нагрудным знаком «Изобретатель-рационализатор СССР» и обещался нести банку, сколько потребуется впредь; уклонились.

Вероника Никитишна благословила; уклонились.

Аноним дал пряник (пряник? Почему пряник?); обещали съесть при возможности.

Азербайджанец попросил вызов; обещали подумать. Прощались сердечно; обещали писать.

Свита редела, редела, потом рассеялась.

Генделев уходил с соком.

М И Х А И Л Г Е Н Д Е Л Е В

«О добрый,  
добрый,  
добрый народ!» —

громко, как репродуктор, скандировало что-то отзывчивое (уж не душа ли?) в Генделева.

А сам он повторял, в такт шагам отхлебывая из банки:

«...род,  
...род  
...род...»

*Конец четвертой книги*

## КНИГА ПЯТАЯ

### ПЕТЕРБУРГ БЕЛОВА

Я прошел, где еще никто не ходил,  
Поэтому все здесь — мое!

*Скандинавские саги*

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ,  
где «форин» Генделев за то, что он больной  
(и странный),  
был опозорен Афродитой Площадной  
(Венерою Лупаной)

По памятным местам и достопримечательностям Ленинграда гулял очень странный товарищ. Все в нем было неладно: наряжен выспренно, и лицо нездешнее — тихое и пустое, и походка, походка — да, походка решала все! Ступни его, в замшевых не по сезону сапожках, иногда отрывались от тротуара на вершок, а то волочились вяло за голенью, а то — опять взмывали стрепетно, задумываясь опуститься, и тогда идиот вырастал в глазах встреч-

ных быстрее, чем положено по законам перспективы, каковая перспектива, общеизвестно — не что иное, как обман зрения, и обманутые зрением разминувшиеся оглядывались вслед и долго и нехорошо смотрели в игривую спину.

Даже и не важно, или как говорится — без разницы, что в руке, на отведенном локте, как носят фуражку на ответственных погребениях, странный этот тип нес банку, обычную, только трехлитровую банку с фиолетовым содержимым — мало ли что носят! — а важно, что вышагивал он не как все, а следуя персональному ритму шагал. Из тех, что покультурнее и подосузей, из тех, бредущих в затылок, кабы пригляделись, безусловно бы распознали в вензелях странника кто — что: кто — метр неправильный дольник, тяготеющий к дактилю с навязчивыми *спондеями*, кто — Танго Смерти, кто — чего-нибудь Бизе-Щедрин, а кто, помыслами порешительней, определил бы — и не ошибся! — что ведут фланера самой ходы лабиринта глубоких исторических размышлений.

«Ты, Россия, как конь! — размышлял Великий Русский Путешественник Генделев, обходя зашитую в строительные леса статую верхового Николая Палкина работы незабвенного Клодта. (Безобразие оправдывал и объяснял фанерный щит: «Реставрационные работы Памятника Николая I производит СМУ № 1918. Заказчик-подрядчик».) — Ты, Россия, как конь. В темноту, в пустоту занес-

лись два передних копыта, крепко внедрились в гранитную почву два задних... Хочешь ли ты отделиться от тебя держащего камня, как отделились от почвы иные из твоих безумных сынов, — хочешь ли ты отделиться от тебя державшего камня и повиснуть в воздухе без узды, чтобы низринуться после в водные хаосы? Или, может быть; хочешь броситься, разрывая туманы, чтобы вместе с сынами своими пропасть в облаках? Или, встав на дыбы, ты на долгие годы, Россия, задумалась перед грозной судьбою, сюда тебя бросившей? (...) Или ты, испугавшись прыжка, вновь опустишь копыта, чтобы, фыркая...»

— Что здесь происходит? — прервал размышления Путешественника тоже какой-то приезжий.

— Реставрация, — пожал плечами поэт.

— Доигрались, — понял провинциал.

«...чтобы, фыркая, понести Огромного Всадника в глубину...»

— А надолго? — спросил провинциал.

— Простите?

— Ремонт государя — надолго?

— А зачем вам?

— Интересуюсь императора лицезреть...

«...в водные хаосы?...» Нет, где это?.. Вот: «...в глубину равнинных пространств из обманчивых стран. Да не будет!»

— А откуда товарищ будет?

— Из Иерусалима.

— Да я сам вижу, что Ерусалиму, хе-хе-хе...

— Нет, я взаправду из Иерусалима, из настоящего.

— Понял. Арапек будете, молодой человек? — строго не одобрил приезжий.

— Еврей. Израильтянин.

— Эге. Значит, и эти уже к нам поехали... Своих мало... — Дядя собрался плюнуть, посмотрел на щит, раздумал и отвернулся.

— *Шалом*, — сказал Генделев безответно.

«Да не будет! Раз взлетев на дыбы и глазами меряя воздух, медный конь копыт не опустит: прыжок над историей — будет; великое будет волнение; рассечется земля, самые горы обрушатся от великого труса, а родные равнины изойдут повсюду горбом, на горбах же окажутся — Горький, Владимир, Углич...» (И Душанбе). «...Ленинград же опустится!»

Генделев устал, перевел дух, поставил банку на тротуар и опасливо посмотрел на еще одну, на этот раз уличную, живую очередь — в магазин «Живая рыба». Давали осетровые головы. «Одна голова в одни руки!» — горел рукописный транспарант на витринном стекле.

«Брань великая будет — брань, небывалая в мире: желтые полчища азиатов, тронувшись с насиженных мест, обогрят поля европейские океанами крови; будет Цусима! Будет новая Калка... (Во дает!) Куликово поле, я жду тебя! («А вот

это — лишнее», — подумал Генделев.)... Встань, о солнце!»

Солнце встало. Погода стала вполне приемлемой, и открылись новые горизонты — возможность посильного участия в жизни великой страны...

— ... Стелку Шарафутдинову сократили, а она — лимитчица, куда ей? Заморочка! Она, не будь тюха, покантовалась — стремно. Туды-сюды — пошла путанить. А сейчас на «жигуля» своего тянет, грит: «Дериба-а-ас, желаю иномарку...»

«Мазал тов!» — облегченно вздохнул Генделев, совсем уже было озаботившийся черной судьбой Стелки Шарафутдиновой, — и отпил из банки.

Щебетали по-русски, а враз отвыкнуть от привычки оборачиваться на улице на каждую русскую фразу — кто это может? Поэтому «желтые полчища азиатов, тронувшихся азиатов, тронувшихся с насиженных мест...», осели по новой, а поэт начал пристраивать поближе к отзывчивому своему сердцу судьбу Стелки, тем паче щебетуньи были хороши собой необычайно, а доля холостого иностранца в чужой стране, ах, что там, и сахара тоже нет...

— Гля, Любка! Ну, отпад! Сумашай сзади! Ща клеиться будет, форин припизднутый...

«Форин — это я, — сориентировался Генделев. — Припизднутый. Ладно. Дальше».

— Вот обезьяна. С банкой почему-то!

«Точно я», — легко узнал себя Генделев.

Гризетки оглянулись, переглянулись и оценили.

— Знаешь, старуха, — сказала та, которая Любка. — Я с черножопым не могу. Сколько б ни отстегнул — не могу, старуха... У меня на них не стоит. И больной он какой-то, анализ свой пьет...

Генделев, — уже было разлетевшийся, уже набравший форму Генделев, уже подбирающий, подыскивающий способ «клея» — как теперь принято? как лучше: «Икскьюз ми» или «Сударыни»?.. В общем, Генделев вспомнил, что у него сегодня — дела.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ,

*где отщепенца на струях качает...*

*(За Генделева автор — нет, не отвечает!)*

А что?! — освежает!

Великий Русский Путешественник освежались. Известный израильский литератор купались. В Мойке логоса и Фонтанке лингвуса. Они барахтались в Обводном канале прямой речи! А что они вытворяли в зимней канавке! В фарватере плыли великого языка!

Я-а-понский бох, что вытворяли!

Генделев наслаждался. Пил, нырял: ласточкой, солдатиком и топориком. Поэт брызгался! То менял стили, то лежал на спине. Мог по-собачьи.

Михаила Самюэльевича праотцы, по-своему тоже Великие Путешественники — их экскурсию сорок лет волохали по, уж поверьте на слово очевидцу, очень, очень пыльной пустыне и никакого Мойдодыра — так не вели себя праотцы, дорвавшись до моря Мертвого. Как — кое-как — вел себя Миша. Можете себе представить! Генделев был Рыбка! Кто-нибудь может себе представить рыбку-Генделева? Рыбку по-собачьи? Кашляющую рыбку?

Ослепший, ослабший, счастливо-сопливый, с лобной ломотой малинового звона, он, весь-весь в коже своей лебядиной, он выкарабкался на гранитные ступени и запрыгал на светлейшем, ингерманладском, лейб-гвардии ветру на одной ножке, ковыряя ухо, и — слух его отверзся!

Ленинградцы и гости нашего города! Отвернитесь! Сейчас нахал снимет плавки. Вот-вот заголится. Отвернитесь! И вы, девушка, — тоже! И перестаньте дерзить спасателям!.. Молода еще!.. Повторяю! Внимание! Отвернитесь от Генделева, ленинградцы и гости нашего города, последний раз предупреждаем!

И слух его отверзся.

Почему, твердо стоя на берегу, шевеля острыми ушами на берегу белого шума пятимиллионного охлоса — почему кастрюльно задребезжала мембрана тимпаникус? Зачем зябко — что, съедет иголка, взвизга ждешь, акустической подсечки, срыва на петуха?

«Звук! — сообразил Генделев. — Звук снимите, эй! там, наверху — звук! щелкните тумблером — раздражает!»

Да: сов. люди переговаривались естественными сов. голосами. Будничными голосами сов. художфильмов. Немножко ходульными. Как чуть-чуть на цыпочках. На волосок буквально завышая — даже если басом — тон. Уловимо на шестнадцатую, на восьмушку, на четверть тона — но выше.

— Никал Саныч! Слыхали, ты идешь на повышение!..

— Отставить, Леонид! Что люди не болтают...

...О, не припишем себе наблюдение, что врущий субъект инстинктивно завышает модуляцию, что, не отдавая себе в том отчета, лгун — подымается по регистру — но чтоб вся Великая Держава?!

Или вокс попули даже на нашем ближневосточном западе — голос толпы ниже, спокойней, не так нервен? Сравнительно с местным Бангладешем.

— Никал Саныч! А может, ему пиздюлей поднакатать?..

— Отставить, молодо-зелено! Вентируется, Леонид, вентилируется...

О, эпика! Что это? — это — мелочью тренькает сдача морочных очередей отсюда-и-до-закрытия?

О, орфики! дверные ли клацают гармони утренних обморочных троллейбусов-всчочу-на-ходу?

Или сели на связках льдинки отличных открытых гласных пионерских монтажей-шаг-вперед?

Сочку не желаете, орфоэпики?

А желаете обвинить нас в русофобии уже сейчас, или перекурим, покуда мы не зарвемся, обидно воспроизводя аканье, оканье и цоканье неопетербуржан?

Ах, мы — иван не помнящий родства? Мы — калашное рыло?

Ах, мы забываемся? А вы — не заигрались ли часом, старожилы, камергеры-ключники ключей родников и истоков? Не заигрались ли? Очень смешно передразнивая застойные, но от того не менее фриктивные «г», во всех словах с «г» начинающихся? С «гэ», а не, простите, с «х»?

«...переименовать Петербург Белого в Петербург Белова!

Санктъ-Ленинградъ уже и пишет окая...»

Что «Генделев!!!»? Что «Генделев», когда это мой язык! Может, единственная личная моя собственность, с кровью отбитая у семьи и государства?! Что «Генделев!!!»? Я на нем, знаете ли, стихи пишу — вам заткнуться, государи мои! И ты мне не тычь, я те не Иван Кузьмич! Тоже взяли моду: «пасть порву!»... — Хласность! Размахались: «Генделев!», «Генделев»...

— Никал Саныч! Может, все ж таки... того?..

— Отставить, лейтенант! Прикажут полоскать горло Пушкиным — будете полоскать!

...Короче (одевайтесь, Миша, простудитесь — ветер с залива...), короче, своим грудным русским

нацмен гордился. Вот ведь — нерусский человек, а как овладел. Не иначе, была у него бонна Арина Родионовна?

Кстати — была! Лидия Ивановна Сердюк, арина родионовна. Чем-чем — русским (ну, что вы стоите как неприкаянный, одевайтесь, застудите комплексы!) своим турист гордился! Экран! (Мелькают кадры хроники: детсад, женская баня, двор, кружок лепки, городской пионерский штаб... Стоп! Построение). На переключке класс, как прыщи, давил хохот.

— Гендель! — сладко спивает Лидия Ивановна Сердюк, преподаватель физической культуры (лицо — крупно), опытный педагог.

— Гендэлев! — делая шаг из строя, конечно, последний в шеренге (общий вид, слез наплыв) щедушнейший «Звонок», член городского пионерского штаба: «Моя фамилия Ген-Дэ-Лев!!!» Смена кадра: эмоциональные бостонские дамы организации «Девы-баптистки для Сиона» собирают крупные пожертвования в пользу Израиля. Голос за кадром: «Так куются характеры героев».

И персонажей. По настоянию проф. З. Ф., научного консультанта документально-художественного сериала (в худ. эпизодах в роли Поэта — неувядаемый Е. Евтушенко) «Жизнь и смерть д-ра Михаэля С. Генделева» (совм. пр-во к/с им. Довженко и «XX век Фокс») из второй серии «Жизни» купирован эпизод:

Зелик Шираки, серен (капитан, точнее, ротмистр), командир группы офицерских курсов в Црифине:

— Доктор... Гын-д-леб! ... Слива. Г-нд-л... Шармута!.. Слива... Доктор Ганд!-леев!

Кацин рефуа (офицер медслужбы) утомленно:

— Зелик, твою мать... Шми — Михаэль Генделев, Зелик... Ген-Дэ-Лев!

А жаль фрагмента — свет был хорош и кадр четок. Сочку не желаете?

Освежает.

На этом бы можно было и закончить праздник на воде, тем паче когда пальнула Петропавловка, ливанский ветеран присел, — адмиральский час — «тем паче» Генделев уже чего-то заторопился, встревожился, спросил который час, ответили твельв о'клок! — и в банке на донышке, опаздывает на явку! —

эх! ставить — так ставить во главу угла примат зрелищности и выразительности: согласитесь! мы не можем не запустить когти в стигматы литературного героя? До тайного свиданья всего ничего, как раз столько, чтоб пока сам турист не слышит, выходя к Неве и заглядевшись на (до чего обшарпан, обдрипан Ленинград!) ансамбли, стоящие на втором, некоторые утверждают — на первом месте в мире (а английская королева, общеизвестно, курит исключительно «Аврору»), почешем языки!

Здесь — скверная история, начавшись апологией фамилии, обернулась круговой обороной честного имени — там,

где средняя русская фраза «пошли в бассейн» исполняется на распев «или мы уже пошли на бриху?»; там,

где из-под груди моск- и леншвеевских жакетов, горжеток, макинтошей лексиконов вылез русский интеллигент евр. национальности, расправил плечи родового лапсердака, сидит как влитой и — таки показал язык!; там,

где как упражнения под музыку в хамсин — нечеловеческих волевых усилий стоит незабвение деликатного, тонкого искусства завязывания бабочек, обожаемых русскоязычным литератором;

где Генделев — по крайней мере, он дал себе себя (себе?) легко в этом уговорить; там,

где Генделев и иврит-то не выучил толком, по соображениям, конечно, нимало не убедительным — гигиены творчества, чтоб не путался под ногами; там,

где вконец испортился домашним арестом характер поэта — Михаил Самюэльевич возненавидели буквально на ровном месте невинное слово «рахманут», на иврите означающее «милосердие», всего-навсего! И даже — по-своему грациозное — слово «цагорайм» (полдень) — он возненавидел! «Цагорайм жизни моей» — красиво. А?

Как он хвастался своим русским! Надраивал его медь кирпичом, дышал на блеск его матово, плевал, опять тер истово и смотрелся в него, смотрелся, как в зеркало...

И!:

Самурай бы подверг себя вскрытию.

Американский еврей — психоанализу!

Стоик бы ограничился цикутой!

Прусский юнкер стрельнул бы и попал в лирический свой лоб!

И кого? — поэта!, и где? — в Метрополии!, и кто? они, друзья веселых лет!, и, и — что? — Акцент! Акцент, говорят, у тебя, птичка! Может это не надломить ветлу тонкой психической конституции?

Акцент на самом деле был, это я вам как автор говорю — акцент на самом деле был не акцентом; а всего лишь, просто-напросто — скандированием, форсажем, излишне-цветаевским избыточным интонированием фразы: «Это! я вам! — как автор — говорю!» Акцентом же было названо змеем, Яго, тайным завистником Мишиного русского. Что же до поддержки этой инсинуации — то к клеветнику опрометчиво присоединились все те, кому Генделев (а странствующего поэта было много), кому он просто надоел. Ох, и до чего это был неверный, ох, невзвешенный, необдуманый ход! Потому что — Генделев надоел после этого

всем еще больше, приставая: есть ли акцент? Таки ли акцент? Если есть, то какой он? а если какой, то какой он сильный?..

Что же до пагубной этой привычки аггравации смысловых ударений (акцентов), то — сокрушимся: нет, не от победоносности она, повадка сия, но — от мореной усталости — привычка прорубаться и прорубать смысл в патетических прогулках наших с бывшими настоящими и будущими компатриотами. От нужды нашей — эта привычка пришлецов и пришельцев — любыми средствами! любыми средствами глухонемых: жестом, гримасой, оплеухой, интонацией — доносить пусть горсть смысла нерасплесканной до центральной нервной системы коренного населения — любыми средствами отбросить тень смысла, поднять и вложить смысл в наше бляение!

Отсюда: бессонницы, неврозы, фобии. Нытье.

«Я слово позабыл, что я хотел сказать, — жаловался известный внутренний эмигрант и невротик:

слепая ласточка —

беспокоился он:

в чертог теней вернется...»

«Нам не дано предугадать, —

ловко попадая в рифму и размер, утешал его другой,

выездной-ипохондрик,—

как наше слово отзовется!»

И — наоборот.

Махнем рукой: эвоэ! Махнем рукой. Издержки перевода с языков. Вон Иван IV, дерзал-дерзал, пытал, куролесил, — Генделев отхлебнул из банки — фиолетового осталось на самом дне — и повернулся к собеседнику: куролесил, разводился, переписывался с невозвращенцем Курбским — а в немецком учебнике русской истории прочтем: «Иоанн Грозный, прозванный за свою свирепость Васильевичем»...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ,  
*где хоть волхвуй, хоть не волхвуй —  
окончание — на «хвуй»*

— Сочку не желаете? — спросил М. С. Г(енделев).

— Спасибо, Миша, я не пью, — ответил А. С.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ,  
*где («спой нам, Мэри») вместо кофию  
сервировали куфию*

...Расстались мирно.

«Он хороший, он умный — Кушнер, — почти с нежностью вспоминал Генделев. — Жаль, не посватался, голландка, тюль колеблем... газ чуть притушен в гостиной, “Поэма экстаза”... сидим и вяжем... Нет, что это я, совсем умом тронулся?! — Танеев и вышиваем... потом хохочем и играем в

серсо... А господские детишки цепко следят, чтоб мы невзначай чего не стырили в усадьбе...»

И — вздохнем, как вздохнув, именно на этом месте, лет двадцать тому, как вздохнула, в кинотеатре «Баррикада», зрительница «Войны и мира»... м-м-м... Стелка Шарафутдинова! Двадцатилетняя лимитчица, зарабатывающая лен. гор. прописку горняшкой в пригородном, тоже кинематографическом, санатории — вздохнула сладко и восхищенно, обмирая от на госпремию тянувших интерьеров особняка Элен Курагиной: «Убирать бы здесь!..»

А — рядом ниже — убивалась полковничиха: «Вадик! и эта симпапо! эта Наташа Ростова! и выйдет замуж за этого урода Бондарчука!»

«А ты откуда знаешь?» — сокрушался и так вконец потерявший голову от приключений на экране саперный Вадик.

Но и наши приключения predeterminedены, ведь что ни говори, а три килограмма сока — это три литра жидкой влаги. Внутри героя. Организм, он требует свое. (Правда, организм организму рознь. Бывает организм-дурак — стихи пишет.)

Генделев сдал опустевшую склянку и шарфик в гардероб и сел за столик. Ресторана «Кавказский». С благополучным видом человека, все помыслы которого направлены только на то, чтобы отдаться гастрономической стихии. И все! Никаких больше помыслов, никаких запросов. И — все! Никаких... Да.

Официант подошел, взвешивая хабитус и кредитоспособность богатого, но как бы немного нездорового фарцовщика:

— А будем заказывать?..

И, заглядывая в бездну, откуда поднималось что-то манящее, заявил:

— Напитки с двух.

— Сейчас три.

— А напитки с двух.

— Но — сейчас три.

— Но напитки — с двух.

Клиент ощутил себя Лаокооном. Весь — мрамор. Змеи мешали.

— С двух, с двух, — сказал он покладисто. — Что порекомендуете?

— Что есть.

— Что есть?

— Что — есть?

— Есть «есть»?

— Если «есть-есть» — есть люля-гарнир-гарнитур-папоротник-яд.

— Яд?

— Яд!

— Есть? (Лукреция Борджия! Папа!!! Я так и знал...)

— Яд?

— Яд.

— Есть?

— А как же?!

— Какой папоротник?

— Яд. «Я. Д.» Японский деликатесный, — снизошел к бестолочи Сальери. — Папоротник трофейный, извиняюсь — импортный. Полезен. Для палочек и колбочек...

Клиент задумался. Он уже привыкал к фундаментальным изменениям в языке. Необратимым.

— Это какой ресторан? «Кавказский»?..

— А как же!.. Мэри! — подозвал официант.

Подплыла Мэри.

Генделев восхитился:

Кто-нибудь ласкал армянку,  
перенесшую ветрянку, —

заговорил в нем недюжинный поэт.

Мэри отплыла.

Поэт спешился.

— А почему папоротник японский?.. Я не хочу, — вернулся он к прозе.

— Положено, — заскучал официант.

— А если без гарнитур-яд? — капризничал клиент. — Я не люблю...

— Положено. В тарелке. Допустимо не есть.

— Пусть папоротник... листья травы... И 200!

— Не 200, а 100! И паспорт.

— Слива?

— Паспорт. Крепкие спиртные напитки отпускаются гражданам старше двадцати одного года.

— Я старше. — Генделев приосанился. — И не гражданин...

— Дело ваше.

Генделев предъявил, ну и день сегодня!

Официант отдал честь и улетел с интересным сообщением, судя по игре лопаток.

А М. Генделев отправился в... Мыть, знаете, руки.

Стояла небольшая... ну, да... Небольшая, правда, — посетителей на десять. А вот без очереди — Генделев, еще раз, сегодня — лезть побоялся. Тем паче с единой, так сказать, целью. Он попробовал занять очередь. Не поощрялось. «Стой, как все люди стоят, не хитрожопь!» — резковато посоветовал крайний, сам стоя правой штиблеткой на носке левой.

Как говорится в таких случаях, несолоно хлебавши, интурист вернулся к накрытому. Аппетит не возбуждался.

За столиком напротив, тоже с невеселыми лицами, пировали. Что они такие надутые? Тоже надобность?

А компания меж тем была, если приглядеться, забавная. Ба! Такие в куфиях. Приятной и знакомой расцветочки. И в не менее знакомом хаки. Старательно небритые. Крупные восточные мужчины. Вот какое лицо! Какой лепки голова! Голова крупного восточного мужчины! Откинута... как бы лежит... Щеки тяжелые, нижняя губа свободно при-

открывает зубы... Выражение лица спокойное, как бы ленивое... Взгляд рассредоточенный, не требующий встречного...

Заглядевшись на голову за столиком, Генделев оцепенел. Но тут, не весьма кстати, подошел официант, выдвинувший левое плечо вперед, решительный, на все готовый. С подносом:

— Будем заказывать?

Генделев тряхнул головой: была не была!

— Будем!

— На десерт?

— Еще бы!.. Что-нибудь в нац. вкусе, пожалуйста!

Официант со всей искренностью огорчился. Голос его дрогнул:

— Национального еще не завезли.

Израильтянин обмяк:

— Тогда чашечку кофе...

— Этого нет. Но будет! — убежденно сказал гарсон. — Будет!

— А где подают? Где здесь у вас кофейня?

— Пока только «Баку»...

— Счет! — разозлился израильтянин и пошел проверить, что там с очередью... Проходя мимо мрачноватого пира географических соседей, склонился, чтобы их расшевелить, над палестинским столиком и негромко сказал:

— *Кен, йедидай, аз ма хадаш б'арцейну?*

Словно скатертью белоснежной покрыли, пахнущей лавандой постелили стол с головами и — по-

верх голов! Только отнюдь не требующий ответного взгляд крупного восточного мужчины проводил поэта до двери «00».

— О-оп! — договорил чертовски довольный собою Генделев и обнаружил вместо очереди табличку «Санитарный час».

«Час не выдержу», — озаботился было он, но даже это не подмочило настроения.

Когда он вернулся, твердо, излишне твердо, на наш взгляд, шагая, за столом земляков было пусто-вато: сигарета дымила, купюры валялись, в тарелке еще трепыхалась, расправляясь, куфия со следами «соус пикантный, гранатовый».

«Однако!.. и с такими нервами делать палестинскую революцию?» — пожал плечами Великий Русский Путешественник.

История имела продолжение.

Вечеряя после полного переживаний — вы уж мне поверьте! — дня, гость в дружеской компании пересказывал ее, историю, близко к тексту, как всегда хохоча больше всех, а в этот раз значительно: хозяева отказывались ржать, даже не улыбнулись.

— Читай! — сходяв за газетой, угрожающе сказал Жо Гималайский. — Читай, чудище! Вслух читай, вервульф!

«Тунис, — прочитал Миша, холодея. — По сообщению пресс-агентства Организации освобождения Палестины, сегодня в лагере палестинских

беженцев неизвестными злоумышленниками (накипели слезы... — «Читай, читай, — сказал Жо. — С выражением») неизвестными злоумышленниками был убит верный сын палестинского народа, руководитель радикального крыла Объединенного фронта освобождения Палестины (комок в горле) доктор Абу-Джияс. Личность покушавшихся не установлена, но, по мнению осведомленных лиц, нити этого чудовищного злодеяния тянутся в кровавое логово Тель-Авива. В организации покушения без обиняков обвиняют многократно запятнавшую себя невинной кровью израильскую разведку — пресловутый Мосад...» Строки поплыли...

— Ну, и что ты на это скажешь, остряк? — полюбопытствовал Жо Гималайский.

— Зачем «Умру ли я, но над могилою...»

Всегда поют с такой нечеловечьей силою? —

сказал Великий Русский Путешественник. Положительно, он был сегодня в ударе.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ,

*о том, как выгодно составить на потом  
воспоминанья о пережитом*

«Невский проспект обладает разительным свойством: он состоит из пространства для циркуляции публики; нумерованные дома ограничивают его, нумерация идет в порядке домов — и поиски

нужного дома весьма облегчаются. Невский проспект, как и всякий проспект, есть публичный проспект, то есть: проспект для циркуляции публики (не воздуха, например); образующие его боковые границы дома суть... гм... да... для публики. Невский проспект по вечерам освещается электричеством. Днем же Невский проспект не требует освещения». От себя добавим. Мы знаем Невский проспект. За многое любим. За цитаты. За — у нас хорошая зрительная память, мы с детства угол рисовал. За — углы. Угол Марата. И Ольстера. Угол Сайгона, угол Желябова, где ОВИР, угол Софьи Перовской. Угол Бродского. У нас хорошая память! Где мы остановились? Угол Бродского? Помните в «Уединенном»?..

«Бродский, Бродский!.. Бродский...»

Ничего-ничего! Будет и на нашей улице («рехов» по др.-евр.) праздник! На рехов Гамлет. Или — на рехов Фауст! Я вам напишу воспоминания. Прямо в «Памятники» — «Воспоминания» Фауста о современниках.

Как сегодня помню: белая ночь, пролетка...

**Она:** «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи?...»

**Он (лукаво):** «Знаем, знаем...»

**Она (запальчиво):** «По мне, в стихах все быть должно некстати...»

**Он (убежденно):** «Все не как у людей!»

МИХАИЛ ГЕНДЕЛЕВ

**Она** (*кокетливо*): «Я на правую руку надела перчатку с левой руки...»

**Он**  
(*покровительственно, любовно*): «Эх!... Сено-солома!...»

Или! Правда, это было в Переделкино, но — в строку!:

*Мошкара, нобели, понимаете, летают, скрещенье рук.*

**Первый**  
(*отмахивается*): «Быть знаменитым некрасиво».

**Второй**  
(*комара хлоп!*) «Некрасиво!»

**Первый:** «Надо жить без самозванства!»

**Второй:** «Ох, надо!»

**Первый:** «Жизнь прожить — не поле перейти!»

**Второй:** «Да, знаете... это (*нобеля хлоп!*) ...мысль!»

Всегда был соглашатель.

А еще, помню, провожали... Ночь прошла незабвенно, ресторация Чванова, то-се, цыганы, пьяные признания. Вдруг наш главный, тогда еще был жив покойник, царство ему небесное! Возьми — да брякни. «О, Русь, — говорит, — о, Русь! Жена моя!» Тут мы все наперебой, конечное дело, закричали: «Нет моя! Нет моя!»... А этот, уродский, паспорт спешит-

тычет... Зане локоточками-то подучили, надо быть поскромней! Так он обиделся, чертяка, супругу-Русь-его-бросил и... фюить! Поклялся, правда, на Васильевский прийти умирать! А что ему жалко — обещать! Я бы тоже пообещал, лишь бы выпустили...

Напишу мемуары! Крест святая икона, напишу!  
Врежу алмазным стилем!

...Как-то, меж тем, бегло цитировать, бега с банкой, некомфортабельно. Так где мы там остановились? Невский проспект? «Невский проспект прямолинеен (говоря между нами), потому что он — европейский проспект (Хо-о-рошая проза. Нота Бене! — М. Г.), всякий же европейский проспект... (еще не конец цитаты, пардон, отвлекусь! — М. Г.).

Гостиница «Европейская», Годдем! — вот паспорт. О-о! ввар из туалет?.. Клоуз?!.. Шит! Почему клозет, говорю, не работает? Что значит «санитарный день»? Да кто же это вытерпит, черносотенцы!.. Икскьюзми!.. (Подождите, не конец цитаты! М. Г.) «...Всякий же европейский проспект есть не просто проспект...»

Фонтанка! Журчит старушка... Публичная библиотека для недоучек. Очень красивое, ценное, но, вероятно, трудное для ремонта здание... Ремонт его начали — лицензиатом медицины был Dr. Gendelev, а от он, ремонт, как новенький. И написано «ремонт», и на сопредельном туалете — тоже. Однообразно как-то, рутинно, без выдумки.

Написали б «perestroika». «Всякий же европейский проспект есть не просто проспект, а...»

Литейный! Спекулянтский садик за академкнигой! Скупка. Всеми в студенческой жизни своей хорошему мы обязан Книге! На папином 20-томном В. Скотте три ряда печатей! (Скупки.) Он, папа, любит Вальтер Скотта, он, папа, трижды выкупал шотландца, / по возвращении из отпусков.

О, эти, под карельскую осину, / генизы русские политехнических евреев. / О, корешки! Собранья подписные! / Маршак — Шекспир ты наш! / Ты, Эренбург, наш Микоян!

«... Эли, а Эли?.. Лама азавтану?»

Кругом

распутин, солоухин и глушко

а выходцев

from

кожинов:

куняев!

а

ты

от нас ушел

Илья Григорьич!

и

очень жалко, что ушел,

живым.

недокурив четырнадцатой люльки

недодымив

Герцеговины Флору

ВЕЛИКОЕ [НЕ]РУССКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

и так вот на — Падение Парижа  
и Хуренито:  
эти люди, эти годы, эта  
жизнь!

о  
елкин елин липкин левитанский  
лиснянский о белоцерковский  
зозуля галкин  
и  
сорокин  
о!

— а балтер?..  
— безыменский урин балтер!  
а также: немцов швед и финн варшавский,  
незнанский!!! голощекер!  
кац!  
и  
шварц!!!

азаров и светлов! багрицкий и ясенский!  
залесский дальский и долинин дольский  
гай  
огнев волин долин  
и  
гай-  
дар...

о  
дриз унд шторм!  
...унд шток!  
— айслендер!  
унд гор унд форш! унд братья тур!

Михаил Генделев

— унд  
дар.

...но  
озеров?.. а алигер? а островой!!!...  
натан рыбак и рыбаков...  
явленский!:  
...райский!  
с  
барто!

и  
(избранный и полный)  
уткин!  
и гусев! беленький!!! и  
лебядинский!  
рогинский лев и рысс и бек  
и радов и ошанин солнцев славин!!!

Родная Речь!  
Хорь  
мит  
Калиныч!  
Чук  
и  
Гек.

...а Элиза Ожешко! а! Элиза Ожешко!

А Шолом, ани мицтаэр, кводо — Алейхем! А?

А Фейхтвангер! «Иудейская», страшно сказать,  
«война», ни разу не открыл! толкнул не глядя, те-  
перь поздно горе горевать... Только детские кни-  
ги читать... — Весь второй ряд семейного шкапа,

вся... — менталитет уходит в гой — ... сокровищница! ушла гулять в «Садик»!..

...«Не работает!» Академично. Лаконично. Не работает! И — точка. Точнее, восклицательный знак. Ну что ты будешь делать? Мелом. И хулиганье приписало всякие глупости. «Всякий же европейский проспект...»

«Сайгон»! Мы еще вернемся. Сюда умирать... Я терпелив! И родина моя «Сайгон». На мне татуированные знаки. Просто, сейчас некогда.

Что-то омолокососел ты, «Сайгон», сравнительно с нашими временами зрелых Титанов, и надолбанный ты какой-то, старина, и не уголяет ностальгию, что в углу по-прежнему не шевелит трезвыми ассирийскими очами уже совершенно седой осведомитель, и глухонемые опять готовы к страшной клокочущей драчке, они что? не стареют, немые? У них никакого упадка сил?

Но — дальше, туалет дальше! Мимо придворной «Мороженицы»... Женя Вензель, тончайший стихотворец, не свиделись, «Мой отец еврей из Минска, / мать пошла в свою родню, / право было б больше смысла / вылить сперму в простыню» — извини, дружок, что не в столбик, некогда.

Евгений Вензель стрельнул в «Сайгоне» пятерку, приобрел в гастрономе напротив (о, темпера дешевизны!) маленькую + бутыль бормотухи + стакан сливового с мякотью сока — забросил в клюв и... не пошло. «Пяти рублей как не быва-

ло», — флегматично сказал Вензель, не посмотрев на пол. Эту фразу мы повторили на улице Яффо, по выходе из иерусалимского *рабанута*, держа в руках «Теудат герушин» — «Свидетельство о разводе». С Еленой. «Пяти рублей как не бывало...» Но дальше, дальше, что нас остановит?!.. Здесь это, за пивбаром «Жигули» театра Ленсовета!.. Сначала «Ж», потом «М», помните? Да. «Перерыв». Чево «перерыв»?! Это у меня — перерыв! Перерыв?!!

Быстро, резво, скажу я вам, уходит от нас известный израильский литератор! И пролетит — конским глазом скося — знакомый подъезд? Где, на восьмом этаже он, он годы провел в безумном бешенстве желаний! Он пустил по ветру лучшие годы!

Стойте, Генделев, стойте, торопыга!

Замрите!

Что «не...»?

Стойте, скрестив ноги, — но стойте! Считайте количество знаков на странице — отвлекает.

А мы не спеша зайдем... Мы поднимемся, годы наши не те взбегать по темной лестнице на восьмой этаж, где двадцать восемь звонков и одно «стучать!» Где медная табличка «Инженеръ Ивановъ (Бейлисъ) — 1 звонок», а вы, Генделев, стойте и: ни!

Не ходить же по-маленькому в самой мемориальной подворотне Санкт-Петербурга?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ,

*в которой, на карниз ступив на верхнем этаже, жиличка и рояль и автор — бряк!.. ну, это надо же!*

...где мы не прописаны, но зато — до сих пор.

Где, когда постучат в дверь первый раз, следует снять висящую в изголовье киянку.

А когда постучат второй раз, сказать: «Антре!»

И — по этой команде в нашу щель вмерцает старушка (вообще их в квартире была дюжина, не считая Праскевы, привидения), войдет мерцание Праскевы и пригласит к драке.

Как еще не упоминалось, квартира раскинулась на пространстве хоров крепостного театра. Переперегорожена она была многократно и столь витиевато, что, когда дом стал на капремонт, — рояль, замурованный в келье, пришлось выкинуть из окна восьмого этажа, за что нуждающийся студент Генделев взыскал по рублю от заинтересованных лиц и набрал на рублей тридцать.

Рояль «Беккер» встал на подоконник, но падать не хотел. Не желал падать.

Рояль не падает с восьмого этажа кружась... (ну, ну, не жмурьтесь! Мы же не жмурились, когда, незадолго перед тем, наблюдали полет жилички Померанц, ровесницы «Беккера»). Рояль не планирует. В отличие от жилички Померанц, которая выпрыгнула сама, после муромского сидения в кресле-качалке, причиной которого был паралич, причиной

которого был удар, причиной которого был арест мужа ее комкора и всей родни, причиной которого был террор, причиной которого был культ (причиной которого, как выяснилось, был Сталин, причиной кот. был Ленин, прич. кот. был Маркс, п.к. был папа Карла, п.к.б. Адам), причиной которого был Б-г. Причиной прыжка безумной сироты было то, что дом встал на капиталку и ей предложили Дом ветеранов сцены, а рояль было не вынести, что было причиной падения — она кружилась и планировала.

«Беккер» не хотел прыгать, не хотел падать. Стоял в проеме. Молился. Баху? Фи!.. скажем — Глюку — рояль выпирали из помещения в кривую твердую спину. Он решительно оттолкнул всех, ощерился прокуренными клавишами, цапнул за плечо Жо Гималайского и чуть не захватил палача с собой. Оттолкнулся в пустоту метра на два и спикировал.

Ангел его дал свечу — молниеносно, — попадая в скрещение солнца, взвился и ушел в небо, чтобы потом, когда было все кончено, нехотя, редко порхая, сесть на шпиль Петропавловки вороным негативом. А рояль пал на брусчатку — четко и бесшумно, — как орлан (я это видел) падает на форель. И — заорал, только тогда, как вновь взлетел, подпрыгнул и вырос, как собою взорванный антрацит и — расправил крыла свои, т-я-н-я за собой в струнах воды трепещущую добычу —

свои внутренности, и опять сел и проиграл — как пламя читает книгу — всю сразу, — так он проревел — музыку! всю, что на нем была сыграна за бравур его века — всю сразу! и — порывался, мертвый, доиграть эту музыку, но как же: из небытия? — и успокоился.

Нельзя музицировать из небытия. Кода.

Зачем я это сделал? Сейчас не знаю. Мы были молоды. Не знаю.

Но что о смерти? Пусть мертвые жуют своих мертвецов! Когда на кухне в форме звезды и величиной с Пляс де л'Этуаль кипела жизнь, клубилась, напирала жизнь, кипяченная на синем огне бесчисленных, зажженных по праздничному поводу — конфорок.

В центре кухни к фонарю свода театра был подвешен сортир, клетка с канарейкой — сортир-скворешник, к нему единственному, зенице коммуналки — взбегала по жердочкам прозрачная шаткая лесенка.

Егор Егорыч, особист на покое, сиживал там часами, наслаждался, причем осведомленные недоброжелатели, вынужденные справлять кто куда, утверждали со всею рентгеновской достоверностью, что сидит гад на толчке не как все русские люди — орлом, а, наоборот, держась педипальпами, свободными от отрывного женского календаря за 1953 год, — за фановую трубу. И сидит там сейчас.

В кухню-фонарь, на плацдарм и стягивалось население — съемщики, кнехты гербов двадцати девяти домашних очагов, этос. Этнос...

Стоп! А почему это, собственно, нельзя? Вот, допустим, современники, допустим, Пушкин и Гейне, Пушкин — трахнувший всю Россию и посетовавший на дефицит пары стройных женских ног, и Хайнэ, скромно ограничивший размах изысканий в этой области — областью, и вынесший заключение о большености геттингенок, — им можно — нам нельзя? На ту же тему? Она — закрытая тема? Нам уже и не обмолвиться о небритых лядвиях афулок?! И сразу: «плагиатор! плагиатор!» А если одну мы, гении, воспеваем Жизнь?!

В поход! Нечего расслаживаться, герои, по стенам кладовых, продутых черными синайскими ветрами, по стенам ходов и переходов черепа!

В строй, Акоп Арташесович, ст. товаровед магазина «Сделай сам», гр. Надбалдьян (1933–1973 гг.), Акоп Глубокий. С работы он возвращался, груженный как раб на пирамиде, клацал засовами, и только вездесущая Праскевья нимало не удивлена была, как, по коллапсу А. А. Надбалдьяна, вскрыли келью, вошли и выяснилось, что он сделал сам — достроил по патенту ласточкино гнездо, трехкомнатную апартамент на пустой, вдовствующей, не выходящей никуда стене — брандмауэре. И на тебе — бац! — коллапс. Не уберегли.

Держите шаг, Эдгар Пок, нач. труда и зарплаты субпродуктов. У Пока был третий зубной протез, съемная, верхней, вставная — специально для еды челюсть, которую он, чтобы не потерять, носил тоже во рту. Лена его опасалась — и не напрасно, — учитывая улыбчивость Эдгара — это в три-то ряда зубов! Идем, Пок, ваш выход, скалозуб!

Гляди веселей, Праскевья! (? — 1924), актриска крепостного театра графа Безбородки, любимица Капниста.

Сплотить ряды, Саша Балабанов, научивший нас стихотворению:

Приходи ко мне в берлогу,  
отъебу и вырву ногу! —

не злой, участливый йеху, отсидевший первый раз «ни за что» («изнасилование совершеннолетней»), а второй раз «за дело» — соучастие в убийстве.

Сомкнуть ряды, доцент Родин И. А., доктор наук, видный, скажем, тополог, с.н.с., по брезгливости никогда не пользующийся коммунальными удобствами (оккупированными и аннексированными Егор Егорычем, и посейчас сидящим на толчке, если вы не забыли — наоборот). Игорь Андреич обходились в своем, скажем, академическом институте и по утрам выходили из комнаты с бутылочками из-под ряженки, обернуты-

ми в «Советскую культуру»; мотивируя своим «неучастием в жизни площади», Игорь Андреич наотрез отказывались убирать места общего пользования, именно у него мы переняли максимуму:

«Сами насрали —  
сами и убирайте» —

формулу, срабатывающую каждое радостное, пернатое утро, как путь на службу Игорю Андреичу заступала Праскевья, азартно выскакивая из паркета: «А! А? Влажная уборочка?!»

Ахтунг! Сильная Ирма, гауляйтер нашей квартиры, изуродовавшая за развязность Балабанова на полгода военно-медицинской академии, с чего тот начал пудриться, подкрашивать веки и выписывать «Бурду».

Идемте, Генделев, не тот, что переминается на дне двора-колодца, умирая-хотя-пописать, — но тот, напевающий «Мы сами, любимый, закроем», уже снявший галстух-бабочку... Свободной от киянки рукой студент приобнял безутешную Леночку и диктует ей, дурочке зареванной, последнее распоряжение относительно своего еще не пухлого, но уже почти литературного наследия.

Чу! Барабан! (На мотив «Снегиря») Чу!

Саму драку описывать значительно менее увлекательно, нежели участвовать в ней. Тем паче, сту-

дент рассматривал Гигантомахию фрагментарно, снизу, протискивая взгляд натуралиста меж пылящих копыт многоборцев.

Какая киянка! Акоп Арташесович вышел на брань в домотканой кольчуге и с арбалетом (музейная вещь). И где он, Арташесович?

И — спит гаолян. Старший научный сотрудник Родин, давший осечку, наверно, просто недопроведший кинжальный «тоби-геру», смертоносный прием шотокан-карате — и — давно в отключке, дети несут бадью крутого бурливого кипятка — отливать.

Из высокой стойки перешли в партер Веселый Роджер Э. Пок, Балабанов, вырванная газовая плита, жена Балабанова, кони и остальные хомо, человек двадцать, на всех лица не было.

Сам юниор Генделев был временно выведен из формы выпавшей на него, как рысь из кроны, Праскевьевой, прижат к прочному ее остову и упакован в несносимый, веселый муслинчик кринолина. Его нежно покусывали в шею, вжевываясь, подбираясь к артерии каротикус. И все-таки, пусть костяные плоскогубцы уже нащупали и готовы были отчетливо сомкнуться на адамовом Мишином яблоке, и — быстро стемнело — юноша успел альтруистически подумать: «Атас!» — когда заметил выход на батальную сцену Сильной Ирмы.

И — отпустило.

И! не стало никакой Праскевыи — как не было. В это время Ирма послала утюг.

Мах, каким Ирма метнула утюг, мах — человеческий глаз проследить не смог, полет тем более, утюг описывать поздно. А эффект — опишем.

Небеса отверзлись, раз!-дались, распался скворечник клозета, и из него выехал по фановой трубе Егорыч, весь как есть — орлом наоборот на унитазе и с бачком, нахлобученном по споротые погоны.

Утюг так и не нашли. Окон в кухне не было. Потолок цел. Из ран утюг не извлекали.

Праскевыя — Девой Непорочной клялась, хоть на дыбу! — что в ее оборудовании и утвари утюг не значится. Доцент Игорь Андреевич, старший научный сотрудник, заявил, что «утюг — предмет. А по закону Ломоносова–Лавуазье предмет пропасть не может. Человек да, предмет нет. Иное измерение?.. так называемая “У-син”? да, такую версию он считает, как материалист считает? — наиболее релевантной».

Как же дать вам уйти во тьму без лучины, Акоп Арташесович, тов. Пок, я, с.н.с. Родин, Леночка, Сильная Ирма и...

...Все так, но зачем тогда я это сделал, зачем вместе с Генделевым мы выбросили обреченный рояль из окна обреченного дома?

Так пристреливали коней на ялтинском дебаркадере?

## ВЕЛИКОЕ [НЕ]РУССКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

из жалости, чтоб не достался на поругание?

из гадости — власти над драгоценным предметом?

из неистребимого нашего любопытства?

Хотя все объяснения равно пошлы, мы все-таки, хоть и скрепя сердце, выбираем последнее.

Из любопытства.

...Автор не хотел падать. Он расправил черное свое крыло и, может быть, подхватив из-под поверхности жизнь и опять грохнувшись с ней в когтях, он тоже — прокричит все сразу, все: музыку, что на нем сыгралась за его век, весь бравур его века? Что ж, что это будет негармонично — а мы уж постараемся, чтоб это было не гармонично, а наоборот, будьте уверены! А если и нет — не менее «что ж», — разбредутся тридцать немолодых коллег, заплативших свой серебряный с носа за зрелище падения роля.

### ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ,

*о том, что прежде чем нырнуть*

*в подземный переход,*

*желательно предвидеть следующий,*

*да! сюжетный ход*

Постойте, потерпите, Генделев, скоро! скоро я снова запущу по накатанной колее бугаевской конки... «всякий европейский проспект есть не просто про-

спект, а...» Потерпите еще пару абзацев, да и вообще скоро — за поворотом — конец тома. Потерпите, герой!

...Что я хотел сказать? А! — я хотел воскликнуть! Пусть и не к месту — но воскликнуть:

А все же до чего увлекательное это дело — красть!

Красть хорошо и интересно. Нет такой заповеди: «Не заимствуй!» — а пусть и есть такая заповедь, то кто постановил, что Моисеева юрисдикция поголовно кроет ферму какой-нибудь (разумеется, кроме отечественной) словесности? Автор крал и буду красть! Автор нарушал святость Царицы Субботы и — буду! Я уже убил. Не прелюбодействовать? — я это люблю. И вообще — обхохочешься, пригрезив себе подзаповедальную, законопослушную беллетристику. И позвольте, наконец, спросить, что есть предмет импозантного отражения — отражения в трюмо искусства? Мир! Вот когда мир перестанет нарушать десять заповедей — а он перестанет, вот увидите! — тогда мы, автор, — все равно не перестану! Беги, страдалец, беги, хрен с тобой...

Взять, к примеру, туалет еврейской бывшей кухмистерской, ныне и присно — «пельменной». Очень по-европейски: «Извините, мест нет», «...есть не просто проспект, а (как я уже сказал) (вот зануда! — М. Г.) проспект европейский, по-

тому что... да...» В ресторан «Невский» — и в удобства его — устно не пускают. В ресторане «Москва» (коктейль «Богатырский»: полфужера разбавленной сивухи + ломтик картошки и соломинка) — «закрытый вечер», а сейчас всего лишь пять дня. Но — ВТО?!

ВТО, т.е. бывший ВТО, нынче Дом театральных деятелей РСФСР! В ТО, что нам нужно...

— По здорову ли будете, Михайло Самолыч?..

— Здравствуйте, здравствуйте! («Тебя мне не хватало! И как тебя, холера ясна, зовут?») Извините, у меня надобность, спешу, знаете, ха-ха!..

— Что-нибудь приватное?

— Во-во!

В! Т! О!

— Генделев?!

— Танечка! Извиняюсь, детка, я на одной буквально ноге — дела! Не обес-с-судь!

— Ну, какие могут быть дела, ведь миллион лет не виделись...

— Дела, роднуля, дела...

В!! Т!! О!!

О! О!

«Закрыто на мероприятие».

— «Потому что Невский проспект — прямой линейный проспект» (конец цитаты. Конец? — М. Г.)

— Здравствуй, Миша...

— Ой! Кто это? У тебя? Тю! Тю! Тю! К-какой к-р-р-рас-с-с-с-ивы-й-хор-р-рошенький!..

— Внук. Внучек. Олежек. Да? Мы Олежек Аронович? Как мы умеем улыбаться? А, Олежка? А? Что это с нами? мы мокренькие? мы описались, да?..

— Да. Почти. Пока, мать, пока...

Пассаж: «Авария».

— Авария?

— Авария!

— Караул!

— Еще нет, но скоро и караул.

Гостиный двор. «Входа нет. Ведутся работы». Надо менять маршрут. «...едва только выйдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело (что-то не то. — М. Г.), но, взошедши на него, верно по... (точно не то. — М. Г.) ...верно позабудешь о всяком деле, здесь единственное место...» (О! Точно! Спасибо, Николай Васильевич. Хоть и антисемит, а душа-человек. Точно — здесь единственное место!) Подземный переход! Единственное место... уф, жарко! — где всегда есть уборная! Жарко! Тепло! Ну, ничего — уже недолго. Тепло... Что же это я зимо-лета попугай: куртка, шарфик, банка, шаровары? То ли дело — налегке, на сквозняке, на асфальте, как этот, старик бухарец, прямо на пикейном одеяле и — НЭП! НЭП, да и только! торгует себе совет-

ским ширпотребом — нитки, булавки, ножницы, заколки, ну все, уже не далеко. *Ма зе* — «ширутим сгурим»! *Ма кара, работай?*

С *рехов Алленби* (со стороны *Таханы Мерказит*) вразвалочку спустился в переход легко одетый марокканец, посмотрел на тепло одетого с банкой в руках, сонно на «*Ширутим сгурим. Такала*», опять на «*кулям аскеназим куку, бехайй*», на проходящих солдаток с «*узи*», притерся вплотную к надписи и начал дорастегивать и без того довольно дорастегнутые шорты. Солдатки заговорщически подмигнули адону Михаэль Генделев и прыснули. Чего-чего, а этого русский поэт вынести не мог. Он развернулся и полетел, зависая, назад, мимо, к другому «нет выхода» и к «хорошо идут розовые славянки» (у, Николай Васильевич, у, каверзник, у, бандеровец, у!) — нет — еще раньше — назад — «Переход» — здесь!!

Здесь.

И написано «*Sortie*», и идут не «розовые славянки», а напротив — бегут негры, хинди-руси, пхай, пхай! и куда бегут — понятно, по надобности, всем туда надо, куда и надпись, и стрелка...

— Давно ли, старичок? Ты чего, за пивом?

— Какое там, Алешенька!!! Гибну, сил нет, ги-ии-ибну!!! Где здесь писсуар, а, Хвост, а? Хвост?! Пипи, а?..

— Лажа, старичок... На Этуаль все закрыто, — доброжелательным, как всегда, ровным голосом сказал Алеша Хвостенко. — Мэрия бастует. Да зайди в любое кафе, закажи «кальву»... пошли покажу...

— Да не дойду я! — И Генделев, несмотря на радость встречи с другом и коллегой, подпрыгнул на месте, завис, откланялся и — в воздухе огненную дорожку он оставлял и при свете — черт бы вас всех побрал, фарисеи и книжники, — дневном свете туннеля inferнального перехода метро «Сперанца». А вот сейчас: «караул» — грудным, страстным, не своим голосом сказала с утра примолкшее сознание.

«Караул!» — сдавался уже крикнуть по гештальт-подсказке Генделев, но: впереди замаячила Надежда, кафель — Верю! — кончился, стены — Люблю! — грубобетонны — переход, как видно, еще не окончательно декорировали, в виду — забрезжило голубенькое. Изнуренный поэт вылетел на волю, под чистое небо пустыря перестройки, на ходу уже теребя, а как же — ссука! — заедающий zipper палевых своих шальвар.

Чурки-стройбатовцы копали траншею.

— Прошу прощения, — сказал Генделев, отстегивая подтяжки и пытаясь стянуть шальвары, — молнию заело.

Стройбатовцы поверх отвала благосклонно посмотрели на «креси англизи».

— Банку ты нам подаришь? За это? — спросил который поусатей.

— За что «за это»? — быстро начиная понимать по-арабски, промямлил Миша.

— За это, — кивнув на полуспущенные шальвары, ласково сказал который понебритей.

— Господа! — как-то непопулярно сегодня начал Генделев. — ...Что-что...

...что-что, но поджелудочный, тошный вой заходящего на цель «кфира» Ливанский Ветеран и Поэт Военной Темы отличал даже неважно чего от. А о хваленой нашей точности бомбометания знал не понаслышке. И сбежал — успел избежать насильственной смерти. Но сейчас шел к естественной гибели. Шагов его саженьи. Все. Абзац!

Абзац. Все, лучше умру, чем обоссусь. В центре родины. Честь дороже. Когда-нибудь надо умирать. Все поумерли. Писсаро. Все... Пикассо. Пуссен. Матисс. Дюма? — ссстарший. И Дюма-сссын. Сссковорода. Все приличные люди. Сссократ. Стоики. Сенека. Сцевола. Сссам Сссула... Эрго сссум... авэ, сссезарь... моритури те мекум... сссалютант... порте...

— ...в порты?

— меа! омнеа меа!..

Михаил Генделев

— мекум? сик транзит!.. — мекум?!

Генделев посмотрел на банку. Большую. Трехлитровую. Вместительную: Сік?

Персонажи поумнее отвернулись. На напряженном затылке героя открылось лицо автора и прокуковало:

Чем продолжительней молчанье,  
тем упоительней журчанье!

*Конец пятой книги*

*и*

*первого тома*

ТОМ ВТОРОЙ

ПИСЬМА НЕРУССКОГО  
ПУТЕШЕСТВЕННИКА



# ЧЕЛОВЕК И (ЗА) ОКОН

## ГЛАВА ПЕРВАЯ ГОСТЬ ИЗ СОЛНЕЧНОГО УЗБЕКИСТАНА

Даже не знаю, чего, т. е. что, я больше люблю — то ли отъезжать из дома, своего Музея, где светло, но не чисто, в вазонах распускаются лилии, а в уголке сидит зареванная верная спутница одной моей жизни, напевая «миленький ты мой, возьми меня с собой» в предвкушении сладкого расставания, то ли возвращаться домой, где не светло, но чисто, в вазонах стоят лавр и бессмертники и вообще можно вволю понапевать. Сколько влезет... А капелла.

Наверное, все-таки возвращаться. Потому что даже не столько есть «куда», сколько есть — «откуда».

Ибо Россия — это очень большая страна, где нерусского путешественника подстерегают большие неожиданности. Пока он там — я это имею в виду — находится.

Обо всем не расскажешь, посему — начнем последовательно.

Россия — большая мирная страна, хотя общался я там почему-то почти исключительно с бандитами. И был не только принимаем ими как брат родной, не обижен и ни разу почти что и не ограблен, но дважды сам был принят за бандита, причем — зря, но с почтением. О чем, безусловно, отчитаюсь, куда ж мне деться!

— Отвали! дай человеку поспать! — строго сказал нерусский путешественник в полном убеждении, что Аглая совершенно распустилась, к ней вернулся вкус к площадным шуткам, причем с утра, что недопустимо для девушки из хорошего дома, и сейчас, когда он откроет глаза, — «О, поднимите мне веки!» — он поставит ее, идиотку, в угол за придурь щекотать у него в ноздре и в глазнице локоном...

Я саданул локтем: проказница не унималась. Причем прошу отметить — над ухом никто эротически не сопел и не хихикал.

Кто-нибудь видел рослого замоскворецкого таракана с расстояния в сантиметр, причем когда он сидит у тебя на глазу?! Утверждаю — «тот не забудет никогда».

— Шалом, адон Генделев, — сказал я сам себе, когда челюсти отлязгали и адреналин стек, — бокер тов! Анахну, однако, кан.

Я проснулся в помещении величиной со стеной шкаф, но с окнами и вспомнил, что «одно-

комнатка с маленькими недостатками и поэтому сдается так, за гроши» — объяснила хозяйка этой коробочки, заломив цену, за которую у нас, в смысле — на родине, можно сдать 2 моих мансарды или 1 квартиру для нормально-пропорционального эфиопа. Недостатки сидели, общались, толпились на полу, обсуждая гостинцы моих чемоводанов, чувствуя себя хозяевами моего положения. На мертвого товарища они не обращали внимания.

Впрочем, на меня — убийцу по неосторожности — тем более. Маленькими я бы их не назвал. Они были в отличной форме, я бы, например, пошел с ними в разведку; им взять языка — раз плюнуть. Рыжие. В бронежилетах.

Но в разведку я пошел один. Меня так умотал переезд (наш самолетик по приземлении везли под уздцы ровно полтора часа, показывая ему Шереметьево и обучая русскому мату) и дружеская встреча, что я не только не успел осмотреться в новой обстановке гарсоньерки, но даже и не сподобился выяснять номер телефона, домашний адрес и расположение удобств.

Поэтому я накинул на голое свое тело мой московский невыездной халатец (врученный мне вместо цветов другом, постоянно живущим в Московии, и оберегаемый и хранимый от воров — ценная вещь) и пошел: в удобства на их поиски.

Собственно, невыездным определила халат моя мама.

— Михалик, а ты не боишься, что тебя арестуют на таможне за ограбление Грановитой палаты? — горько сказала она, рассматривая стоящие от церковной парчи дыбом плечи одежды и кунью нарядную оторочку.

Стоять халат в общем-то мог и сам. Он так иногда и делал. Стоял и сиял. С меня ростом. Если без шапки.

Я накинул халат и вышел в дверь. Вон. Как оказалось, в первую попавшуюся.

Это был не гигиенический узел квартиры.

Как оказалось.

Это была лестничная, если приглядеться, — клетка.

Но дверь за моими ослепительными плечами уже щелкнула. На сложный замок. «Уникальный», — огорчительно вспомнился завет хозяйки — моей валютчицы. Таракановладелицы. Я сразу захотел назад, к таракашкам. В принципе безобидные существа. Домашние, между прочим, животные. Потом я осознал ужас своего положения, далеко перекрывающий ильфипетровские пустыки с моющимся инженером.

Инженер был гражданином СССР. Я — нет.

Инженер знал, по крайней мере, номер своего дома и номер телефона. Это два.

Инженер знал, как зовут, например, хозяйку, а я забыл — это три.

На инженере не было халата огромной ценности. Это — помимо той мелочи, что мне нужно было не на лестничную клетку, а в удобства. Я за-танцевал.

Наполеон умолял: «Дайте мне бой, и я выиграю битву». В 45 лет, умирая-хотя-пописать, в чужой, в сущности, стране, я не мог разделить азарта Буонапарте. Я хотел на родину. Где уже все почти в халатах, так носят.

«Тов, — подумал я. — Телефон и сложное имя-отчество хозяйки шкатулки с джуким знает мой друг, который и арендовал эти удобства. Но телефон друга тоже внутри. Тов, — подумал я. — Объяснить вербально свое присутствие на лестничной клетке, загар и халат в стилистике ха-Хоттабыч ха-закен я, конечно, сумею, но стыд, стыд-то какой. Иностранец хренов».

Я позвонил в звонок, тот, что по соседству. Открыла дама средних лет, т. е. резко превышавших мои — лет. Я ей сразу понравился.

— Шалом, — сказал я. — То есть извините, утро доброе...

— Три, — сказала она через цепочку, но дружелюбно. — Три пополудни.

— Можно ли мне позвонить? Я, видите ли, захлопнул...

— Дверь, — догадалась соседка. — Вы — Миша. Из Узбекистана, коммерсант. Меня предупредили, что вы из серьезных структур.

«Сука», — подумал я о хозяйке.

— Да, я Миша из Узбекистана, — подтвердил я, очень хотя внутрь помещения.

— Меня предупредили, что в 42-м (о! — номер квартиры...) будет жить... восточный гость. (А что? — прозорливо!) Вы странный.

— Ага. Мей ай ком ин?

— Вуаля, — засветилась соседка.

Я ринулся в.

— Я вам могу порекомендовать, — любезным голосом поведала соседка, — попробовать влезть в окно через балкон. Он у нас опоясывающий. Окно ведь открыто? Хотите кофе по-турецки?

— Узбеки не пьют кофе по-турецки. Узбеки любят мыть руки.

Став счастливым, я понял, что проблемы мои, тем не менее, не исчерпаны. Я посмотрел на себя в зеркало. Язык обложен. Волос ломк и стоит дыбом. Надо лезть через опоясывающий.

— Вы мужчина... (во-во!) ...молодой. И... видный. Вас посадить?..

Я уклонился:

— Где у вас опоясывающий балкон?

— Заходите. Кумыс не обещаю, но заварю зеленый чай. Меня зовут Нюся. Нюся Георгиевна. Лучше Нюся.

— Шалом, Нюся, — сказал я. — Шалом-алейкум.

Мы, узбеки, обычно прощаемся с соседками именно так.

И вышел на балкон. Балкон действительно был всеобщий, опоясывающий, как лишай.

Мое появление на балконе вызвало мгновенный аттрактивный эффект в учреждении напротив. То ли итээрам было не фиг делать, кроме как ждать моего выхода, то ли я отбрасывал зайчики халатом и испускал сияние. Учреждение напротив, как я потом выяснил, было секретным. Но теперь занимается конверсией. Вместо секретного, очень химического оружия разрабатывает водку «Ветеран» и «Кепка Жириновского». Сотрудники прильнули к окнам. Среди них попадались хорошенькие. Я перелез через формальную решеточку, разделяющую балконы. Форточка была открыта: это подлинное счастье, как мало человеку надо...

Я влез на подоконник. И целеустремленно полез. Я, несмотря на возраст, ловок и смышлен. Худенький. Маугли такой.

И вот тут наметилась оплошка досадная.

В форточку я вписывался — раз плюнуть.

В форточку категорически не вписывался халат. Отдельно — с трудом. Но содержит меня в себе — никак.

Научные сотрудники напротив очень заинтересовались манипуляциями.

Я остался перед выбором: или выброситься с балкона 11-го этажа в гардеробе — или лезть по отдельности — сначала халат (более ценный), по-

том — я. Но — как абсолютно голый. Иностранец  
ибо.

Понятное дело, я сначала решил выброситься: до сих пор не могу себе простить, что отклонил это предложение головного мозга. Не надо было бы возвращаться домой. Эх, кабы знать! Поэтому я снял халат. Нюся быстро, но не до конца отвернулась. В форточку я влез не новомодным стилем рекордсменов в высоту — т. е. оттолкнуться толчковой и — на спине, а по-простому — задом к публике из НИИ напротив. Предварительно закинув монументальный халат. Сзади грянули овалы. Влезая вслед за халатом из балконного солнца в темноту квартиры, я зажмурился от напряжения, протиснул руки, потом уперся руками в подоконник и как мог совершил приземление на пятки, стараясь не задеть телевизор, о котором я ничего не помнил из предыдущей жизни.

Глаза открылись и привыкли к полумраку. Передо мной сидела девушка. Лет эдак трех. На горшке.

— Дядя, ты бандит, — сказала она совершенно спокойно. — Папа говорил, что надо ждать наезда. Ты уже наехал?

— Я уже наехал, — сказал нерусский путешественник.

— Зеленые за толчком, — сообщило дитя. — Будешь ставить утюг? Утюг в шкапе.

— Утюг. Конечно, утюг. А зачем утюг?

— Утюг ставят на живот, — назидательно поведала девица голому дяде. — Ты свой не принес? Наш — коротит.

— Взрослые дома? — спросил я, прикрывая наготу.

— Папа горбатится. Как слон. На правлении. Зарабатывает на блядей и маме на хлеб на сучий.

— Насущный.

Я опять скатал халат и выкинул в форточку.

— Отвернись, — сказал я барышне. — Привет маме. От Мишки из Узбекистана. Наезда не будет. Он уже был. Так и передай.

— Ты забыл утюг! — догадалась девица.

Мое появление на балконе было встречено уже всем составом НИИ. «Бездельники», — озлился я.

Халат украшал верхушку тополя метров на 15 ниже балкона.

Прикрываться уже не имело смысла. В той квартире, которая, во всей видимости, была моей, фрамуга была защелкнута. Я огляделся. Ощупал себя. Ощупал себя внимательно. «Срам», — почему-то решил я.

## ГЛАВА ВТОРАЯ ОПЫТ ЭПИЧЕСКОГО ОТСТУПЛЕНИЯ

Очам Нюси Георгиевны вернулся поблекший холостяческими годами цвет гюрзы и девичья сорочья подвижность.

Страшная, грозовая дамочка была Нюся, по всему виду. Глаз ее — от Человека-Из-Серьезных Структур, Нерусского Путешественника Мишки-из-Узбекистана — не отводился: еще б! Дык! Было на что посмотреть бесплатно. Из вблизи, если не сказать — в лоб. Не то что — через зиянье улицы — как человек двести дегустаторов НИИ — на очень крутого, а может, даже и психованного — ибо гол, как рыбка, а может, даже и бери выше — не вооружен, сами понимаете, но очень-очень опасен — на посмотреть на столь необычного господина перед запертым окном. Плотного стоящего на плоскостопых каких-то ступнях, на опоясывающем балконе в центре города Москва, Московской области, если кто забыл.

Я попробовал и взгляделся в тень за стеклом — в тайной надежде, что это все ж таки не «мой» дом и не «моя» невзятая цитадель. В лицо мне открыто и приветливо глянул таракан: «Заходите, мол, квартирант, гостем будете. Если сможете». — «Открой фрамугу, пыжик!»...

Его, тараканища праздного, подельники в этот момент делили продукцию фирмы «Осем», дарственные подтяжки и приступили к примерке моих жилеток. Жилетки мне, к слову сказать, очень не хватало. Я их любил — мои жилетки. И штаны: в человеке, наверное, все должно быть прекрасно одето.

— Инструмент у вас есть? — спросил я Ньюсю.

— Вы это серьезно?..

— Еще как.

— Есть. Кабинетный рояль...

— Ньюся Георгиевна, — тихо-тихо сказал я. —  
Принесите мне топор.

Даже мысль, что теперь я буду «вооружен и очень опасен», не остановила Ньюсю — по ее мнению, с топором я б выглядел импозантнее... Бабы! Что с них взять!

— Нету у меня топора, — с явным огорчением раскаялась Ньюся. — Когда в доме нет мужчины — в нем нету топора. А зачем вам, Миша, топор?

«Господи, — подумал я. — А зачем мне, действительно, топор? Тогда уж лучше б пистолет — застрелиться. Не зарубаться ж топором? Какая безвкусица».

— Бесейдер, — сказал я, — не топор. Лом, молоток, серп! Что-нибудь тяжелое.

— Жизнь тяжелая, — сказала Ньюся.

Я вздохнул.

— Жизнь тяжелая, — вздохнула Ньюся. — Но зачем вам, Миша, молот?

— У нас в Узбекистане, если вдуматься, молотом выбивают стекло, дабы войти в дом и переодеться (я покосился за борт, халат на Плющихе вяло шевелил золотыми ластами) в свежее дезабилье!

— А скалкой у вас в Узбекистане не?..

«Надо было соглашаться на утюг. Ребенок в прошлой главе предлагал утюг. Подумаешь, “коротит-коротит”...»

Здесь, в этот нагнетенный, несколько искусственно пафосный (патосный) миг повествовательного момента у меня есть два выхода выйти из неловкого положения. Один для автора, другой для героя. Оба выхода так себе, неглиже с отвагой, как говорит моя мама.

Выход для отхода у авторов так и называется — в полковничьей манере — «лирическое отступление». То есть порассуждать о чем-нибудь невразумительном, погарцевать с иронией тонко думающего интеллектуала, на трудности ремесла посетовать (издержки жанра безудержного комикования) и — выйти на свеженькую яйцеголовую мысль, что, вишь, как все в природе устроено бренно, что — бишь! — в конце-то концов какая нам с вами (понимай — нам с вами, людьми тертыми, много и нехорошо пожившими, — читатель), нам с вами (перегляд)-то (перегляд с суровинкой) — разница, чем закончится сюжет: кутузкой, психушкой или — как часто в комедии положений — «честной гибелью всерьез».

Выход — что характерно — обычно бывает там же, где вход.

По обе стороны у света тьма-и-тьма.

Не то у героя.

Герой — а я несколько раз побывал в шкурке героя — Герой всегда узнает последний. Как —

все равно — муж, просто смешно. Хоть святых вон выноси, как смешно. И что было на самом деле, и чем все это кончилось, и чем должно — и обязательно — сердце успокоится. Герой рассказа, сплетни, мифа, своего романа, нашего, будь оно неладно, и вашего — на выбор — времени всегда все узнает последним. Его ставят перед фактом, с ним поступают. Ведь ровным счетом плевать, что он там сам о себе думает. Возможно, я не утверждаю, что это закон природы, но все ж таки возможна неприятная ситуация (я бывал, бывал в подобной неприятной ситуации), когда героя несет, когда его, бедолаги, характеристики, путем простого накопления качеств и состояний (возьмем, к примеру, «любовь». Любовь, я проверял, тоже бывает надувная, как кукла Барби из секс-шопа. Понятно, что путем простого накопления качеств и состояний можно надуть себе не только любовь, но и целую оргию. Со своим участием. Особенно когда и тебя надувают) выходят из-под авторского контроля, становятся характером — чаще всего у бездны на краю. И тогда мы говорим — беда у человека, хотя это уже не беда, это трагедия. Какая же это беда, когда у бездны на краю и вместо автора, умелого кукловода, — рок с белыми глазами.

И уже боги не властны.

И уже не биография, но судьба срывает эпoletы до ключиц, отрывает ордена с мясом — разжалы-

вает и, сломав над башкою бедовой шпагу, лишает дворянства и состояния, низводя до подлого рода: из авторов — в герои. Рассказа, мифа, сплетни, любви.

Ничего нет унижительнее опуститься до героя — даже своего романа, — что тоже не спасает. Потому что какая им с читателем в сущности (перегляд) разница, чем закончится сюжет: кутузкой, психушкой или — как часто бывает в комедии положений — честной гибелью всерьез: герой — животное общественное.

Дай волю героям — и Анна Каренина, которая, безусловно, терпеть не могла фата Вронского в исполнении Ланового (потому что ее, вне всякого сомнения, не любил похотливо-моралитетный граф-исполин; граф, их сиятельство, любил безответных пейзанок и Софью Андреевну за прилежание в деторождении как из пулемета), дай волю героям — и Анна Аркадьевна пошла б под откос уже в третьей главе. И ее б нашли во рву нескошенном — красивую и молодую. До отвратительных итальянских эпизодов.

Так на тебе — зеркало русской революции настояло на развитии сюжета!

Дай волю Атосу, моему кумиру Атосу, и он бы (подумаешь! как сказал поэт, он «тоже был женат на бляди» — эка невидаль!) не воспитывал идеального дебила Бражелона на протяжении трех томов, а тихо и счастливо спился в овернской пасторальной глуши в компании Гарика Лонского.

Дай волю мне, нерусскому путешественнику, разве я стоял бы, нагишом, под взглядом целого НИИ и особенно пупырящим мою лебединую кожу взглядом, верней, решительно взыскующим взором невиннейшей Нюси Георгиевны, которая вообще здесь ни при чем и просто одинокая московская насельница и добрая душа тяжелой судьбы, — стоял бы я, несколько пластмассово пошучивая, беспомощный, командированный за сиротские деньги израильским автором на балкон Великой России, стоял бы я?! У бездны на краю?

Правильный ответ: нет.

Нет, я бы вообще не пошел в герои. Ни за какие авторские. Ни за какие коврижки! Я бы оставался и остался на Родине, где скоротал б свои годы в обществе очаровательных учеников, сочиняющих в моей манере, декларативно верных если не до гроба (по причине жаркой погоды нас хоронят в неглиже, обходясь без деревянных костюмов, т. е. к чему ж такие страсти?), то хоть до выноса тельца — подруг, пребывающих в надежде и в полном праве кудри наклонять и плакать — т. е. оставался б — и остался тем, кто я на самом деле и есть, — эпиком раннепожилого возраста. Ибо эпика тем и отлична от лирики, что безлична и описывает не переживания героя от лица героя, а переживания автора — т. е. факты. Как правило, исторические. А история —

это, конечно, не мы с вами. А история это — они с ними. То есть именно то, что нас, в сущности, не касается, и чего там сердце-то надрывать. И чтоб никаких лирических отступлений. Одни эпические.

Чтоб не соло, а вместе с народом. С Голан, с территорий и за зеленую черту нашей неизвестно на чем и чем оседлости. Но это так, к слову. Вольному и раздраженному, желчному, вероятно, от теплой погоды нашей страны.

Нет, я бы вообще не пошел в герои! Что мне литературная слава: из нее (кстати!) штаны не сошьешь. Я бы ни шагу назад с нашей земли, и никаких, повторяю, никаких нерусских путешествий налево. Но я беден. Беден и нечестен. Я беден воображением и нечестен тем, что робею признаться, что ищу на свою — мягко говоря — голову неприятностей, наблюдая иножизнь. Пусть с отвращением, но переводя мелкие деньги бедной инореальности в хлеб ума мозга и соль хохота духа над сердцем. Живу на подачки от щедрот вуайерства. На проценты подглядывания себя в миру и подслушивания скрипа своих шагов в русском (в обоих смыслах) языке.

Так что — пусть герой, как античная статуя — аллегория вспомогательного божка классического идиотизма любого героя, так что пусть мой герой сияет срамом — да здравствует здоровая жестокость власти, крепостного права, прима-

та авторского барства над героем, так что пусть мой герой замрет до — почти до крещендо перед кодой финала — весь как есть. А мы затаим дыхание и отвлечемся. На социальное. Он — стой, мы — соответственно пошли. Где — мы? Мы в России, которая, как все рассказывают, — бандитская страна. Так что — пошли. Куда? Да куда угодно, везде стреляют. Пошли хоть в парикмахерскую.

...На мне растут волосы. Если вдуматься, это чудовищно: здесь ведь уже не растут. Хотя волосы гистологически родственны, если мне не изменяет медпамять, ногтям и рогам — сам я их рост пресекать не умею. Может, потому, что это мудрая задумка Бога, Господа нашего, — лишь Он да куафер способен без отвращения смотреть с близкого расстояния в темя. В наши темя. Хотя брадобрействую и:

О, почему мне грудь стесняет грусть,  
Хотя я регулярно брою грудь?!

Очень трудно поступать с собой решительно выше лица — вот почему! Это вам не быть дельным человеком. Это вам не думать о красе ногтей.

Парикмахеров я уважаю. Их власть над обмотанным в смирительную пелеринку русскоязычным писателем беспредельна. Мне очень мстят за моих персонажей.

Парикмахер с кем хочешь может сделать что хочет. Знаю, что говорю.

Так вот. На мне растут волосы. Беспрерывно. Что дает некоторую брезжащую надежду на бессмертие. В отличие от любви к родине, литературе и вообще — любви, рост волос беспрерывен и не зависит ни от климата, ни от часа дня, ни от географического положения меня. На мне волосы растут даже в России. Правда, уже не так, как раньше. Раньше — я обратил на это внимание — когда я еще жил в еще добандитской России — волосы росли на мне пышнее. Что гасит на корню некоторую брезжащую надежду на грядущее бессмертие на Родине. Но не надо о грустном.

В добандитской России парикмахерская называлась — если кто забыл — «Мужской зал». А теперь называется — это, конечно, свидетельство глубокой начитанности и духовности аборигенов — «Далила». Обладеть можно. И между прочим — насторожиться...

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ БОГАТЫЙ АЗЕРБАЙДЖАНЕЦ

Обязательно стоило насторожиться. Уже в зале, т. е. ожидания, перед процедурами.

В отличие от того нерусского путешественника, который — гол, бос и наг — мнется в ожидании молота на балкончике своей временной гарсо-

ньерки, перемигиваясь через стекло с тараканами. (Вот. Как вариант выхода из сюжета: человеколюбивый, как всякое домашнее животное — петух, например, — таракан из сострадания отопрет хозяину изнутри «сложный замок». Протянет мне членистую ногу друга. А что? Не хуже, чем у людей! Из жизненных сюжетов — что бывают покруче литературных — нашей истории мы еще не так выходили! Вспомним сюжетный узел с просыпавшейся на халяву Манной Небесной, или прорыв линии Бар-Лева фараонцами в нашем еще Синае, или предвкушение американских отличных, судя по всему, гарантий нашей — судя по всему — безопасности на наших — уже не судя по всему — Голанских высотах. В литературе так не бывает, а в нашей жизни всякое бывает. И всегда есть место подвигу для таракана.)

Я пошел стричься плотно партикулярно одетым. Я люблю одеваться партикулярно в Москве, там это ценят. Право — и наплевать, что, оценив, могут и грабануть. А — могут.

Пару ездов тому назад у меня уперли весь гардероб, любезно предоставив, вернее оставив, мне яркую возможность ходить на рынок за лучком — в смокинге (я сохранил его на теле во время налета).

Из квартиры унесли все: галстухи-бабочки, тахрихим-сменку, полевой лавровый венок и гадкес.

Только стоящий в углу халат домушники изъять из хранилища не решились. Ибо — заметная вещь. Хотя его вполне можно было распилить и продать по частям.

Я имею в виду халатец, что украшает вершину тополя под балконом 11-го этажа. В данный момент исходя из сюжета главы 1-й. Надо бы не забыть его снять в конце повествования, пока голуби не засрали.

Итак, партикулярно прикинутый, я вошел в парикмахерскую и понял, что я забыл, что такое нормальная куаферня. В зале ожидания удушающе сидел народ многонациональной Российской Федерации, ведя себя прихотливо и ни в чем себе не отказывая.

Люди моего поколения с тихими глазами смотрели на резвящуюся стаю акселеративной урлы обоого пола, возраста типешэсрэ.

Урла несла таким матом, что на плакате-календарике морщилась таиландка с сиськами наперевес.

Рядом висели соцобязательства от одна тысяча девятьсот восемьдесят пятого года, многонулевой прейскурант («мужская стрижка афра — 25 тысяч рублей») и «ВОВ-ветераны идут вне очереди».

ВОВ-ветераны перли вне очереди.

Кроме них, вне очереди перли все кто ни попадя, кавказской национальности и бэз. Ни попадя

проперлась, понятное дело, и свора носителей новоречи.

Я сидел, ослабив фуляр от «Амати», и думал, что хрен с ним! Пойду на посольский прием без пострига.

Часа через полтора я встал и шагами Каменного Гостя их Страны открыл дверь, откуда звучал насекомый лязг и несло горной лавандой в промколичествах.

Отшатнулся.

В зале работали с людьми мастера.

По почерку видать. Заплечные такие мастера. Мастерницы.

Люди сидели в вафельных серых полотенцах. Скрюченному орденоносцу скрюченную голову гнули к обросшей раковине и поливали, по моему, лизолем. Девушка, стильная такая, в нейлоновой спецодежде на розовый лифчик и трусы «неделька», с гестаповским выражением лица физтруда с человеческим матерьялом, гнобила ветерана. ВОВ-ветеран — он все повидал — терпел. Старая гвардия.

Я подошел к девушке с хорошим лицом:

— Барышня, у меня есть шанс постричься? Ну хоть к послезавтрему?

Мастерица, тайная держательница плеч ветерана, запрос отчетливо проигнорировала. Девушка, не отвлекаясь, обмотала какой-то попонкой ветерана, взяла его — поперх — за лицо, про-

должая гнуть к раковине, и потом только обиделась.

— Мужчина, — хрипло рявкнула она, — вы что, не видите? Я здесь не гуляю, блин, а работаю. Нашел «барышню».

Я терпеть не могу, когда меня именуют «мужчина». Я понимаю, что это снобизм, но сам избегаю обращений типа «девушка».

В обращении «мужчина» есть что-то хамски негритянское, гарлемской стилистики — мэн, мол... Я предпочитаю, чтоб ко мне обращались «господин». В пределах русского языка. А в мужском зале «Далила» можно б даже и «адон», в ожидании чашевых, например. Господин Генделев — а что? Звучит. Можно не прибавлять «экселенц», я демократичен.

«Отпустила б орденоносца-то, — не вслух подумал я, — у товарища конвульсии».

— Нашел, блин, барышню. Совсем, блин, чурки распустились, по-русски не выражаются, все б выеживаться...

Да! Да, действительно, и зачастую даже — да, меня принимают в России за богатого азербайджанца, да. Но что ж тут поделаешь? Действительно — да, люблю яркие колера одежды, и загар несмываем.

И брюнетист, да.

Но зачем же так унижать-то? По нац. признаку. Всюду люди. Всюду жизнь. Блин. Можно подумать...

— Мадемуазель, — сказал я от безвыходности покладисто, — что ж мне делать? Я — того... Сам не умею. Нужда у меня...

— А ты иди...

Девушка из гестапо отмотала ветерана, он си-панул и завоскресал на глазах. Правда, шеи не рас-кособочил. На груди у него блеснули знаки «За-служенного чекиста СССР» и «60 лет в строю». Я пожалел о том, что пожалел. Вот всегда так, куда я, торопыга, со своим гуманизмом.

— ...А ты иди в платную.

— Не понял, — сказал я.

— В платную иди, хачик. Раз денег много (дева-ха оценила фуляр).

— А здесь что — бесплатная?

Я вспомнил «мужская стрижка афра — 25 ты-сяч» и оглядел рабочий зал. Стрекучий.

— Иди где за деньги!

Я еще раз обозрел зал «Далилы».

В углах валялись горы нечистых локонов, пря-дей, грив и оволосений головы.

По-моему, завалы шевелились.

Мне страсть как захотелось в платную.

За деньги где.

Можно даже не «афру», но за любые (в преде-лах разумного) деньги. И чтоб чисто, светло — чтоб! Не заразно чтоб! Чтоб стригущий чтоб, но — дался ж он мне — не лишай. (Не опоясы-вающий, не стригущий — по несложно ассоциа-

тивной связи с ниже и вышеописанными событиями... — М. Г.) Чтоб — «а паразиты — никогда!» Чтоб!!! За деньги.

Бестолковому, но счастливееющему не по дням, а по часам, симпатичнейшему, в сущности, чурке было снисходительно объяснено, что напротив есть мужской салон красоты. И там — за деньги.

Я перешел проспект Мира. Я позвонил в звонок рядом с дверкой, одолженной у броненосца.

На дверке было выгравировано, тоже от великой начитанности, видимо: «Салон “Цирцея”».

Открылась заветная дверь.

В ней, полностью загораживая такую же следующую, стоял мальчик в тренировочном. То есть в спортивном виниловом костюме непосредственно на могучем неулыбчивом организме. В руках у него были нунчаки.

Качок медленно меня осмотрел — от штиблет до подбородка. (Ища болевые точки? У меня едва не открылись чакры.)

«Плохо дело, — решил я. — Непостриженным зареют. Как послушника».

Сильный человек посмотрел мне в глаза сильным взглядом. Я сразу вспомнил, что одним из приемов шотокан-карате (мне рассказывали) является болевой крик. И — единственным известным мне наверняка. Он якобы парализует и обезволивает партнера. Я приготовился обезволить

партнера по спаррингу. Контактному, наверное, в перспективе. Нунчаками меня еще ни разу не били.

Он заглянул мне в глаза, до дна. «Житейская неурядица», — почему-то мысленно прокаркала мне формула из моего же некролога. Он меня ща и пострижет.

Здоровяк углядел на моем глазном дне все, что искал, покачал небольшой головенкой и задом отдал еще одну блиндированную дверь.

Я, отдавая себе отчет, что это — безвозвратно, вошел.

Толчок его взгляда в спину внес меня в помещение.

В единственном кресле сидела, видимо, Цирцея. На всякий случай я похолодел.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ЦИРЦЕЯ

Я много взаимосоотносился с дамами.

И посвятил этому занятому занятию парудругую сочинений самого поразительного свойства и в самых причудливых жанрах. От назидательных «Мемуаров бывшего бабника» до абсолютно нецензурных (уже исходя из названия) «Посланий». Где-то в промежутке трепещет по ветру редкая моя любовная лирика, пылятся эпистолярные опыты, обрастают лишайника-

ми апокрифа чужие — т. е. не от первого своего лица, чтоб не сказать — вообще поддельные (до, прямо хоть плачь! пастиши!) — дневники. Много о женщинах я не написал, причем в основном — хорошего (не написал хорошего я не только о женщинах). Теоретически говоря, точнее рассуждая, к женщинам можно относиться хорошо, плохо, спустя рукава, с острым любопытством. Больше никак.

Ни в коем случае нельзя относиться к женщинам философски... Попробуйте — мало не покажется. Это не я говорю. Это говорит опыт всего человечества. Да что там! Вопиет опыт всего человечества, скулит и пытается приделать на место отгрызенную голову.

Так вот, в кресле сидела Цирцея, заклинательница мужчин, укротительница свиней, самый ненавистный мне лично тип женщины и ее красоты: типичная цирцея!

Цирцея выглядит так: пергидроль, пустынькие глазки, тоща, но в меру, вид постоянно принохивающийся, деловито-похотлива. Но зато обязательно истерична. Мы с Одиссеем этот тип просто на дух не выносим.

Но многие, включая старпомов и пиратов, — предпочитают. Идеал краснофлотца. Красотка Шери. В неапольском порту, в общем. Тьфу.

Я ей, видимо, тоже не пришелся по душе. Цирцеи — они неприхотливы, но привередливы.

— Здрасьте, — сказал я.

Цирцеи носят розовенький халатик на голое, сильно на любителя тело слабо телесного цвета, слаксы и делают себе педикюр, не вставая с парикмахерского кресла. Цирцея медленно уступила мне место опедикюирования и вяло встала за спиной. Видом своим демонстрируя отвращение. Волглыми мертвыми руками она взяла меня за уши, брезгливо провела по шее, заглядывая в зазеркалье и, не моргая, прозревая там бездны. Потом чуть придушила слюнявчиком, и процесс пошел.

Все так же, с пустыми глазами, упертыми в неживое стекло, ни разу не покосившись на мою макушку, не задав мне ни одного вопроса, это существо вело у меня за спиной двусмысленный танец моего обкорнания.

Ах, как я ностальгировал о неопрятной Далилке из предыдущих серий!..

Вероятно, гадючьи танцы за моей спиной сделали свое месмерическое черное дело. Я окаменел, и если б жидкий кислород не тек по робеющей поежиться спине и сорочка не липла к лопаткам, то примерзая, то оттаивая, я б решил, что — не жив. Глаза мои выпучились и забыли закрываться на моргнуть.

Братья и сестры! Что она со мной вытворяла! Она блудила самыми мерзкими, брокенского творческого воображения способами — с моей

головой: морок длился, и сон с бесшумным, ниже слухового порога, шипением не хотел кончаться. Все это происходило в полной тишине, я не слышал ни своей систолы, ни диастолы, в животе не урчало, в носу не свистело... Только лязгали ножницы и волосы — я их слышал, каждый в индивидуальном порядке — брякали об пол. Для Цирцеиного удобства, чтоб сподручней, вообще весь волос на мне встал дыбом. А сзади вела свои па нехорошая девушка. Так танцевала Иродиада с головой Иоханана Крестителя. С точностью до Саломеи. (От ужаса я забыл, кто там кому обещал первую мазурку.) Мне отказала не только память, но и культурное чутье и чувство истории. Оторванная по воротничку от меня голова моя не только не рисковала на гримасу, но и не хотела ее совершить никогда.

Парикмахерские приемы ее были невероятны и взяты из иной практики: когда мой отдельный череп стал похож на муляж черепухи птеродактиля — так эти некоторые особо не дающиеся ей пряди Цирцея выщипывала ногтями. (А я даже не морщился — я тяжело взирал на все, что не сомной, со стороны, глазные яблоки парализовало.) Случайно отрубленные в медленной метели Цирцеиного экстаза, — когда я в общем-то вообще походил на облезлого мандрила, — группы волос куаферша приклеивала к проплешинам слюнями.

Общеизвестно, что мужчина я видный, со значительным фейсом зеленоватого цвета, с ласковым на парализованной половине оного лица — лица выражением. Необщим. (Для обеих половинок.) Лоб, правда, подкачал почти полным его отсутствием. Но со лба не воду пить. Люди вообще без лба жили. Думали надбровными дугами, в ус не дули. Огонь выдумали. И — как его — каменное рубило! Попробуйте выдумать каменное рубило! Лбом!

Зубы. Пусть не свои, зато неплохие, ручной заграничной работы. Что еще хорошего: ресницы хорошие. Глаза свои, дальнзоркие такие... С глаз опять же не воду пить, я этого не позволяю. Уши, правда, петлистые. Покрытые седым волосом и снутри и снаружи... Некоторых это остерегает, а по мне так — пусть будут. Есть нос, ломаный, конечно. Остался от галутной прежней жизни. Хожу, как правило, носом вперед. У нас многие так ходят, этим стилем. Называется «сухой лист». Требует некоторого навыка. Верхнее ротовое отверстие — я им ем. А не только говорю. На голове — прическа.

И над ней работает Цирцея.

По-моему, выстригая мне мережку. Или просто продергивая ее по Гринвичскому меридиану, через полюс. Там, где зарос родничок. Как давно это было...

Кажется, то, что потом со мной молча делали, называется в народе укладка. Народ меток. И словотворчеств.

В конце меня проняло: «Что, век воли не видать?! Вот так и сидеть за двумя бронированными дверями, как в пирамиде, и позволять надругиваться над своей внешностью?! Над своей внешностью своего внешнего вида головогрудь?! Чтоб творился Черный передел?! Чтоб я последовательно преобразован был в неучтенные метаморфозы: цыпленок пареный, ярочка, строго тонзурированный квазимода, плешивец, паршивый пшаверец, неопознанный объект, замороженный вурдалак, новобранец 1914 года, панк, вепрь? А?!!»

— Освежаться будем? — вывела меня из задумчивости будничным бессмертным голосом Цирцея, обметая мне плечи помелом.

Чары опали, как кудельки с плеч. Из зеркала на меня смотрел тяжелобольной еврей. Идти с тем, что на мне и с меня свисало, вилось и топорщилось, на посольский прием? В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!!! И отращивать, отращивать и еще раз отращивать!!! Ежедневно усидчиво работая над собой. Дурно мне.

— Освежаться будем? — повторила эта дрянь, замахиваясь ну уж совсем подозрительным флаконом.

— Хас ве халила! — ответил кто-то за меня. Твердо так выцедил.

Итак — освежает. Освежанс. (Глаз от себя в новой дивной прическе я отвести не мог. Хотя

смотреть было противно. Желудок то взлетал, то уходил, как в высотном лифте.) Сил с кресла встать не было. Да и куда идти-то. Свое, по всему видать, — отгулял. «От мерзавка, — подумал я с отчаянием, — какого хлопчика ухайдокала».

— Сколько там с меня? — еле сказал я обезличенно, неживо. Ненужным голосом.

— 200 (двести), — выговорила Цирцея.

— Что?

— Двести.

— Рублей?

— Тонн.

— Двести тысяч?!! рублей?!!

— Не рублей же? Понятно — тонн.

У меня в кармане лежала вполне приличная сумма — 140 тыс. рублей (что-то около 25 долларов), с меня же требовали двести тысяч, т. е. около 40 долларов США.

— За что?!!

— Стрижка модельная. Фирмы «Цирцея»... — Девуля зевнула.

— Окститесь.

— Не надо оскорблять. Не надо. Надо платить. И свободны. За дверь выйдете, там оскорбляйте. Флаг вам в руки. А здесь не надо.

— Ну, у меня нет такой суммы! — выпалил я прямо в зеркало. Я вдруг сообразил, что сижу в сейфе. Без права переписки.

— Не хотите платить — ваше дело. Хуже ж будет... Вадик, — не повышая тона, сказала в воздух Цирцея.

— Но у меня попросту нет с собой таких денег!!!

— Вадик.

Как в сайнс-фикшн, бесшумно распахнулась дверь, в проеме, не глядя на меня, стоял тот — с нунчаками. Нунчаки чакали. Он не смотрел на меня — смотрел в пол.

— Проблемы? — ненапряженно сказал он (видимо, воспринимая энергию «чи» и внутренне разминаясь). — Проблемы?

— Никаких проблем. Не хочет платить.

— Заплатит, — безадресно сказал Вадик. — Будем платить, друган? Надо платить, друган...

На меня он не смотрел.

— Господин... (Силач?!! Вышибала?!! Товарищ Бандит?!! Людоед?!!) хороший, да я ж что, против?.. Я отдам. У меня с собой не вся сумма...

Удивленный моей покладистостью, хороший господин первый раз поднял глаза и увидел меня. Сначала с фронта, потом он посмотрел в затылок. У него округло обнаружилось наличие глаз. Он подошел ближе. Из потерявшей тонус руки богатыря выпали нунчаки. Со все разгорающимся, освещающим лицо, вероятно, восхищением он обошел кресло. По часовой. Потом посмотрел сверху. Потом — против часовой. После чего рэкетир долго

оценивающе смотрел на авторшу моей модельной фирменной стрижки. С уважением и некоторым подобострастием. Потом взглянул на мешок в кресле, украшенный моим фуляром. Лицо его озарила неплохая улыбка.

— Но все равно платить надо, друган, — сказал он добродушно. — Сколько у тебя капусты?

— Сто тысяч, — быстро соврал я.

Вадик поглядел на Цирцею. Та кукольно отвернулась к стене.

— Сто тонн хватит, — решил Вадик. — Свободен. Иди, друган.

И я пошел на свободу.

## ГЛАВА ПЯТАЯ ГИАЦИНТ

— Хорошо-то как, — сказал я, идя на свободу и лучезарно (избегая зеркал) улыбаясь.

Избегая зеркал, лучезарно улыбаясь, я подергал ручку на железной, величиной с Вадика двери.

Дверь не поддалась.

Дверь, может, конечно, и поддалась, но не открылась: пример — «Золотой ключик».

Улыбаясь, я оглянулся.

— Друган, — произнес Вадик, подбирая с полу нунчаки, — а платить, друган?..

— Ах да, — я засуетился, — ах да, прошу прощения, конечно-конечно...

Ключ от тараканьего домика — раз, ключ от иерусалимской мансарды — штаим, часы карманные с боем — сри. Очень здорово.

Второй карман: паспорт гражданина меди-нат Израэль — раз, средство от неожиданного отцовства — три, фляжка с коньяком «Ха-Наси» (если придется дезинфицировать ранку глубиной 450 мл) — шалаш. Асимон. Замечательно.

Внутренний карман: «портсигар серебряный, тяжелый, белого металла» старинной работы прошлого века от моей старинной поклонницы — раз, опять средства от спаривания (что я это, действительно? в мои-то года...), два мундштука, чтоб фотографироваться в раздражающих читателей позах... Не годится.

Я почувствовал, что... Впрочем, понятно... что я почувствовал, занявшись исследованием четвертого кармана: маникюрный набор, замаскированный под нож-наваху с выкидывающимся лезвием, пистолет-зажигалка с обоймой (содержимое карманов я выкладывал на стеклянный столик салона мужской красоты «Цирцея», унять не столько дрожь в верхних, сколь в нижних оконечностях своих, не в силах — я сел в посыпанное волосами моими кресло), фотография пирушки в Русском центре — это тогда, когда уже мой друган (семь лет строгого режима) с другим моим друганом-журналистом (четырнадцать лет «крытки») мерялись татуиров-

ками — любимая фотография. Все, что у меня есть дорогого в условиях отсутствия семьи. Еще одна фотография: «Танцующая Аглая». Я прикрыл фотку ладонью, это не для нервных. Так. Клево.

Пятый и восьмой карманы — не помогли.

Я поднял взор на Вадика: не злой ведь все-таки человек...

Вадик стоял ровно у стены; очень медленно, очень неестественно, как четки перебирал Вадик нунчаки, он явно, Вадик, искал точку опоры.

Цирцея, полагая, что я этого не вижу, давила на какую-то пупочку, от которой шел кабель толщиной в руку. Электричество, изнемогая, замерцало в темпе сирены.

— Вы знаете? Я забыл деньги дома! (от волнения я заговорил боевым голосом моего знакомого театроведа, победившего в конкурсе татуировок), может, это вам подойдет? — Я протянул зажигалку. — Ценная вещь. Боезапаса хватает на неделю...

Вадик бросил нунчаки и положил могучие руки за голову.

В помещение вошли. Я развернулся в кресле, продолжая жест протягивания предмета дулом вперед.

— Ну-ну, — спокойно сказал, глядя и не узнавая меня, главный вошедший, — нервы побережем... Побережем нервы-то, свои и чужие.

Двигалась троица вошедших подчеркнуто неспешно и не далеко — ровно на дистанцию пять прыжков. Шли они по стенке, как на барельефах в Фивах, ступнями вдоль.

— Проблема? — спросил старшой у Вадика.

— Деньги, — с явным облегчением клацнул Вадик.

Руки из-за головы он вынул и пытался на них не концентрироваться. Просто руки. Руки и все.

— Сколько он хочет? — спросил старшой.

И! тут!! я!!! его!!!! узнал!!!!!! (А вот здесь: одно из двух! Или продолжать описывать с точностью необычайной происходящее в салоне красоты «Цирцея», или — рассказать о старшом. Пожалуй, все-таки — описывать).

— Сколько он хочет? Он — из каких?..

— Из израильских, — вмешался я. — Иерусалимский.

— Хурцилава? — спросил человек из эскорта. — Или «рябовские»?..

— Отзынь! — отрубил старшой. — Замри.

И впервые зыркнул на меня (отчетливо не узнавая).

— Ты что — его пытал? Без спросу?

— Да что ты, Жук, я разве ж, я ж...

— Нехорошо, Вадик. Ой, нехорошо. Ответишь. Старшой на глазок оценивал прическу и вообще — меня:

— Сколько он хочет?

— Не знаю, — произнес, совсем скисая, Вадик.

— Познакомимся? — старшой владел ситуацией.

Я кинул ему визитку. На русском языке. Очень убедительная такая визитка. «Писатель, поэт, журналист. Экс-президент Иерусалимского литературного клуба». Не хватало только дат жизни: конечно, познакомимся, Вячеслав Георгиевич!

Вячеслав Георгиевич Жуковский, разведчик. Настоящий. Советский. Как из кино «Подвиг разведчика». Кадровый. Его папа Георгий был тоже разведчик, но — контр, т.е. «невыездной». А вот Вячеслав Георгиевич, после посильного сотрудничества на общественных началах, факультета военных переводчиков, недолгого комсомольского начальствования — был принят в органы, закончил разведшколу и — не без папиной протекции — был отправлен выездным по специальности, шпионить — в Канаду, советником по молодежному туризму... Все это — с некоторыми изумляющими преувеличениями в пользу героического — Вячеслав Георгиевич («Зовите меня просто “Славик”, вам можно...»), Славик Жуковский излил мне после того, как я спойл его в лоск в ресторане ЦДЛ, тогда еще недоступном для штатских и вообще посторонних лиц, даже бывших работников в жанре капитана. Излил мне все это, а также то, как он «сгорел на бабе» в кампусе Торонтского юнивера, и какая она была кадром, и как вместо того, чтоб ее

вербануть (о чем он написал в секретнейших оперативках), он ее обольщал, на что спустил все негромадные подотчетные «на работу» с местным кампусным населением и даже все личные — такие маленькие — просто кошачьи слезы — деньги «в валюте».

Ко всему прочему она — ему еще и не дала. (В чем я ее — исходя из внешностной неаппетитности и сентиментальной серенькой сущности В.Г. — понимаю...)

А изложил мне все вышеописанное Славик из чувства признательности за проявленное впрок милосердие в 1989 году.

За то, что знал, где находится лестница Бодисатвы, ведущая в клозет ЦДЛ, великий русский путешественник, начинающий нерусский путешественник Михаэль С. Генделев, член израильской писательской делегации, к которой — писательской сионистской делегации образца 1989, еще советского немного, правда, года — был прикреплен неудалый, небольшой и дисквалифицированный за профнепригодность В. Г. Жуковский. В качестве куратора, фискала и за знание языков — русского и английского. Мне его было частично жалко, Славу, Вячеслава Георгиевича, капитана Жуковского, бывшего «Гиацинта», потому что я понимал, что если он протрезвеет при сознании вообще — и в частности — при осознании разглашения сионистскому поэту его должност-

ного Славиного преступления — раскрытии государственной тайны Славиной постыдной личной жизни, то капитану «Гиацинту» останется только — блям.

Из номерного именованного маузера его папочки.

И мой гуманизм и чувство сострадания к многострадальному и так населению моей бывшей отчизны и ее лучшим с-сынкам — подсказали мне выход: так напоить «Гиацинта», чтоб утром того не мучили угрызения капитанской совести в штатском.

Вячеслав Георгиевич Жуковский, по всей видимости, не застрелился на следующее утро, и во все последующие самостоятельные утра, потому что в качестве «Жука», пополневший и посеребрившийся, что ему безусловно шло, — стоял передо мной во главе своих бойцов, вертя мою визитную карточку. «Экс-президент Иерусалимского литературного клуба», — по складам шептали его губы.

— А документики? — сказал он профессионально (забывшись, видимо).

— Клуб, — уважительно сказал третий бандит, читая визитку из-за Славиного плеча. — Иерусалимский. «Президент» — это кликуха?

— Я же говорю, Хурцилава... А? Жук?..

— Засохни.

— Документики, — вдруг жестко сказал Вячеслав Георгиевич (как экс-разведчик экс-президенту).

Я кинул ему паспорт.

Паспорт раскрыли.

Все — пятеро из группировки, включая Цирцею, — начали сверять фотографию на визе — с моей прической.

— Липа, — сказал бойкий бандитушка. — Липа, век воли не видать.

— Туфта. Не похоже на хурцилавские ксивы. Наверняка из рябовских, а, Жук?..

— Вячеслав м... да. Георгиевич, — вежливо сказал я, — вы меня не узнаете? То-се? 89 год? Сионистская группа писателей...

— Какая группировка? — вмешался понятливый.

— Мудоид! Группа у него...

— Ну, дык! Будем разбираться. Бери его, Вадик, за шкварник, поехали. — Слава, не оглядываясь, пошел к дверям. Дверь открылась.

— Никуда я не поеду, Гиацинт, — сказал я изо всех сил.

Слава — как наступил на спавшие штаны и запутался в них. Меня отпустили. Трое бандитов и опять заволновавшаяся Цирцея внимательно смотрели в рот Жуку. Жуковский проявил волевые качества и — даже — оглянулся. Сумел капитан.

— Всем выйти, ну. Я с ним поговорю.

— Имущество, — приказал я исчезающим криминалам.

Схваченная на вершине выпорха Цирцея добро-  
нравно, не подняв пергидрольного пробора, высы-  
пала из подола халатика на стеклянный столик мое  
достояние.

Я сел в кресло и посмотрел на стоявшего пере-  
до мной главаря.

— Так вы не помните меня, Слава? — сказал ве-  
ликий нерусский вкрадчиво. — А, Жуковский?

— Где Генделев? — тускленько спросил капи-  
тан-расстрига. — Мишка где? Я его хорошо помню.  
Когда твои еврейцы приезжали. Где тот? Я ж его в  
гробу узнаю. Миляга-парень.

— А больше вы ничего не помните?

— Ну... нет.

По глазам капитана в отставке мне стало оче-  
видно, что он ничего не помнит. Ни как под клич-  
кой «Ха-Масеха ха-шхора» обещал служить миро-  
вому сионизму до последней капли христианской  
крови младенцев, ни как брал деньги на чаевые, ни  
попытки сделать обрезание прямо тут же, за столи-  
ком, если нужно. Ничегошеньки. Хреновые были  
глаза у Гиацинта, пустые, голубенькие какие-то.

— Сколько от меня надо? — покорно сказал  
бандит Жук. — Я понимаю, плюс — за ущерб.

Он покосился на прическу псевдо-Генделева и  
стыдливо отвел взгляд.

— ...Сразу не смогу. Отдам по частям. А хотите,  
перестригут?

— ...?!

— Ну, скажем, подровняют...

— ...!!!..?!

— Нет, я ничего не имею дурного сказать... В виду... Не подумайте... Президент... Самюэльевич... Сколько, а?..

— Разберемся, Жук, разберемся. Побережем нервы-то, нервы побережем! Свои и... чужие. Вызывай охрану, Жук, скликай бойцов. Поехали.

Великий нерусский путешественник уложил драгоценные его сердцу предметы по осьми карманам, поцеловал фотки дорогих людей и, когда распахнулся — бесшумно и ненавязчиво — зуг дверей из космического металла, — вышел на воздух. Поддерживаемый за локоток. Самим Жуком! Охрана почтительно кучковалась у пуленепробиваемого «мерседеса».

Я сел.

— Домой, — приказал я.

— Куда?! — переспросил ошеломленный Жук.

— В мансарду рановато... Гони к тараканам. Эх, Жук-Жук... Учить ты надо.

Сидящая рядом Цирцея, несмотря на неплотный характер взаимосоприкосновения, — улыбалась, как сумасшедшая, и, по-моему, робко терлась.

Вадик отломал от застенчивости нунчаку от нунчаки.

А верткий гангстер, когда я уже вышел из машины и уходил в теплые синюшно-розовые московские сумерки, все-таки не выдержал:

## ВЕЛИКОЕ [НЕ]РУССКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

— Я же говорил, Хурцилава!!!

Четкий звук затрешины и фырк германских шин завершили важный эпизод Путешествия.

Я поднялся в арендованную квартиру.

Вошел, поздоровался с тараканами.

Выглянул в окно, выходящее на опоясывающий балкон: приветливо помахал стоящему там, в чем родила его его мама Хася Шмаевна, — Михаилу Самуиловичу Генделеву. Тот помахал мне в ответ грустно.

Видимо, не узнал.

## ВОЛЬНООПРЕДЕЛЯЮЩЕЕСЯ

...сон его был мгновенен, как вспышка — ослепительно-черная, вывернутая, когда магний уже отколыхал на сетчатке. (Белокурый, разинутый в ура негатив негра в тундре в синем мундире.) Цвета Творения еще не тверды, не установились, не успокоились, пульсируя и переливаясь на радужке, — обратны, обратимы.

Их команда черных военных горбунов шла к берегу по мелкой теплой воде. Команда сошла, то есть спрыгнула вниз, к уровню моря, из всякому небу открытых граненых гробов — мотопонтонов, и потом короткие звенья мерно разрывающейся цепи вздергивались вверх и исчезали с пляжа, подгребая воздух, пловцы бесследно ныряли вверх, к уровню неба — в апельсиновые и лимонные сады, дамурские прибрежные пардесы, черные парадизы.

Сверху на все огромное содержимое сада — миллион лет тому как — холодным взрывом был накинута цельнокроеная, парашютного шелка свет сверхновой Луны, взорвавшаяся, сбитой, но забывшей упасть. Плат света провисал до дна дорожек, разверставших бывший Рай: меж деревьев теле-

пались стропы, болтались лунные лохмотья белого атласа.

Под светом было абсолютно темно. Свет и тьма сосуществовали независимо друг от друга, часто в одном и том же месте. Поэтому представлялось, что в Ничто развешаны фрагменты деревьев, цитаты стволов, обломки главной темы небес и — вниз головой — смутные — места ветвей и разночтения плодов, которые следовало собирать не зрачками, не поспевающими за негритянскими ужимками и прыжками исполняющего себя сада, следовало читать не зрачками, а принимать всеми белками или — сразу — орбитами. Приборы ночного видения отказывались служить в этом гибельном саду. Не зрению, сознанию. Линзы оптики уменьшали захваченный вид, как перевернутый бинокль, отводили его, подкладывая несуществующее субъективно изображение; творился подлог: свет принимался за свет и тьма — тоже за свет, отчего последовательно отказывали чувства — дистанции, перспективы и глубины. Взамен возникало ощущение чудовищной гиперреальности сада, — а когда оптика срывалась, то срывалась и сразу в лоб кидалась, как страшный ребенок, растопыренными пятернями вперед, сильная ветвь, должная быть остановленной в миллиметре от шатнувшегося, и проводила! — но проводила, слепоглая, — мокрыми ладонями по незащищенным полям лица — и отойдя, сама убирала руки

с плодами за спину. С несвоевременными плодами, потому что первое, что он сделал, поднырнув под свет, — отобрал, отнял, разогнув пальцы у холодной этой ветви, тяжелый белометаллический плод, и, срывая ногти, разодрал могучую кожуру, и вошел по подбородок, до гланд, до слез в живую кислотину. Отпущенный автомат сразу непременно зацепился, а сзади резко двинуло по плечу, — сзади, в дымном нимбе и без каски, стоял Эйб — живой, немой и разъяренный, насмешливо крутя у виска. «О'кей, о'кей» — аккуратно положим на землю плод, выпростаем из куста дуло, палец на курок, поправимся: «О'кей?...»

Эйб ушел спиной в куст. И уже очевидно, что это сон, хотя бы потому, что ни капельки не жутко. Потому что не окатывало, когда следующая глухослепая щупала твердые кости скул, залезала в губы. Не было того, уму неподчиненного ужаса от напрасного ухода этого и возможного ненаступления следующего — отдельного — мгновения. Ни с чем не сравнимого ужаса не-явления, не-продолжения, ужаса, равного только самому себе, страха — нет, все-таки ужаса! — что жизнь прекратится, сейчас его пинком разбудят в смерть, именно сей... — и не останется выговорить — ...час: договорят дубеющие губы.

Не было. И он был счастлив — освобожденный повторным просмотром, отделившим ужас от сна. Смерть не привели посмотреть на него.

Да, он был счастлив во сне — отлично зная, чем все это кончится, что будет дальше, — что еще через четверть часа хода сквозь сады железных апельсинов он будет лежать, вдавливаясь и проникая в раздвинутую, вяло податливую глину рая, и глаза его будут не мочь закрыться, заело створки век, — он, Генделев, будет лежать и ждать, чтобы с какой-еще-нибудь небывалой еще болью, страшной выламывания коренного зуба без укола, что-то внешнее жизни вмешается в налаженный, родной, хороший порядок — а ему и такого было достаточно! — в порядок, в лад его тела: одна из этих коротких, цветных, разноцветных черточек-дефисов, растянутых в воздухе, каждая чуть длиннее пальца, черточек, ряды которых резко прокатываются по листе над ним в ставших такими прозрачными на просвет, напролет, и от того еще менее безопасными... как их?.. кронах; рвань древесная осыпается, и плоды тукают по спине, а по листьям кто-то — известно кто! — с невероятной скоростью расшивает сад стежками, белыми, красными и зелеными, — по идиотскому, по спасительному недо разумению у этих, на которых наткнулся конвой, в магазинах были одни трассирующие пули (почему? может, понравились при набивке рожков своими красными носиками).

Вышивание по темноте решило исход стычки однозначно и счастливо. Для нас. А самое главное — быстро. Смертельное, предательское для

самых черношвеек вышивание веерами и строчками, их дурацкое рукоделие, отвело от нас бой, слепой бой на ощупь, тупой бой, который в специально для того устроенном саду мгновенно превращается в жмурки, в убийство, в убой, в упор и на ощупь. (Как — рассказывали — было с нашими коллегами по десанту. Положили толстого румына Хаима, связиста, он покровительствовал Генделеву и разрешал ему звонить домой, в Иерусалим, сколько и когда угодно, и еще троих убили, и двенадцать раненых, один не дотянул — три пули в живот и одна в позвоночник. Вилька из педиатрического, на курс старше, рассказывал, как пытался вытащить, дотянуть до вертолета. А у нас — ни одного. Практически. Один раненый — артист! — сломал лодыжку в темноте, и еще Гудмана царапнуло осколком, когда тот, их последний, рванул под собою лимонку. Их туш мы насчитали десять, когда рассвело. А всего эта прогулка заняла — ну от силы час.)

И — хорошо, и наверняка зная, чем все это кончится. Генделев был счастлив во сне — и еще продлить был счастлив этот проход в арках под ночными апельсинами смертельного сада, безопасный и счастливый этот ход —

— когда можно, нестрашно и сладко хладея, подкрасться к короткостриженной блондинке под мокрым деревом, и отодвинуть застящую свет гибкую ветку, и безнаказанно рассматривать, смо-

треть, уставясь в прекрасное лицо ее с фаянсовыми, бессмысленными, еще ненаведенными глазами, и только в самый последний момент, когда небыстрые ее глаза начнут перемещаться, чтобы упереться в твои, — соскользнуть взглядом, не встретиться, отпрыгнуть и, забежав за ствол, продолжить и начать сначала эту игру. Бессмертный, неуязвимый, знающий свое будущее наперед, а прошлое назад —

— с того, что благополучно сошли с мотопонтонов и — до утра. До утра ведь прошло не больше часа с высадки, или еще назад, или еще раньше: понтоны уже скребут дно, прибой по грудь окатывает на мелководье координаторов-сигнальщиков с синими их фонарями... или — еще раньше? — когда бесконечно за железными листами что-то жевала и пережевывала тварь Серединного моря, а в четырехугольнике бортов, от Столбов Геракла до Золотого Рога, от Марсея до Александрии — всего-то неба! — расходившиеся приближались и уходили звезды, и рыболовное тарактение дизеля раздавалось от Александрии до Марсея.

\* \* \*

Господи — эти пробуждения! В пять — от уже назойливых, как мухи, — лучей, и от — на бреющем — мух, налитых до краев бензобаков синей кровью.

Пошатываясь, бряцая пряжкой, пошел вон из пакгауза, не разлепляя обросшие лишайниками глаза. Высунулся на чудовищное солнце и — отшатнулся от разряда света.

Как будто встреченный дурак-альбинос расхохотался ему со слюной в лицо.

Отойдя для блезиру, долго отливал в тенистой щели между стеной дока и стенкой бронетранспортера. Опираясь рукой на дверцу.

(В военной, мэнской, настоящей мужской прозе вообще много, обильно и охотно испражняются... Другое дело, что простые надобности приобретают в армейской реальности характер непростых радостей плоти и эстетизируются самим бытом войны: чего стоила, например, лекция-инструктаж караулу, продекламированная на своем варианте еврейского языка иврит автором, тогда офицером ЦАХАЛа, в предместье Бейрута Монте-Верди, — о порядке дефекации в полевых ночных условиях! Гурманы-однопольчане записали текст на магнитофон и смаковали, прокручивая на бивуаках. Это сюжет. А фабулой были давеча оторванные по яйца ноги (и яйца) неосмотрительного младшего сержанта Ури Сапира, кандидата социологии университета Бар-Илан, — ранение взрывом противопехотной прыгающей мины советского производства. Похожей на машинку, которой нас стригли в детстве под полубокс. Целую, Генделев.)

Лужа серела по краям: уже хорошо за тридцать по Цельсию — это в пять. А что будет днем?

А еще теплее будет днем, мое сокровище! Будет. «Медуницы и осы тяжелую розу сосут». Сосать тяжелую розу будут...

Два метровых бруска-штофа «Джонни Уокера» — приношение шофера «рио» ефрейтора веселого Джонни — засосали из горла и по кругу непьющие мои уроженцы. Но как! Как пьет сабра, мой Джонни, свой «Уокер» — как фугас «Волжского», не булькая, как Толик Баврин!

Хорошо пьет Джонни, на здоровье!

Однако, мазут, горелая плоть. Бокер тов.

Русский застегнулся.

Опять — распустил ремень, расстегнул брюки, надел рубаху, почти потерявшую цвет. Только под мышками полумесяцы, солидная, пенсионная, соленого пота — зелень.

Затянул пряжку.

Опять по новой — расстегнул, выпростал гимнастерку.

Поднял и возложил на загривок, на ключицы свой бронезилет. Ощущение тяжести распределившегося по плечам груза было приятным. Определенно, внешний скелет. Панцирь.

Голые до подмышек руки хотелось нести на отлете, фальшивая легкость.

Опять же понт, но — инструкция соблюдена. (Ты понял, док?)

Нашел в кидбеке полотенце.

Той еще свежести.

Взял автоматическую винтовку, взвесил. Злобно сапанул.

Положил на место, рядом с матрацем.

Нет, зараза — придется: инструкция.

Поволок ремень через плечо, раздумал, взял за ручку, как портфель. «И несу, как портфель, на морские купания».

Уложил ружье на плечо, придерживая за магазин, — Рэмбо, тютелька в тютельку, не отличить!

(Здесь и далее — можно всобачить практически любые реалистические детальки, лишь бы в стиле и духе армейской прозы; отмечу для Рэмбо — ничто так не мешает на войне, как оружие. Нам, мягким, из мяса слепленным, — никакое железо не удобно. От него ссадины по всему телу. Самая удобная обувь на войне — фланелевые боты и старый спортивный костюм. Одну — фланелевую боту — с куском ступни я тоже отчетливо помню.

Вот я беру себя за культу и думаю: «Что у меня за страсть к описаниям художественными средствами всякой человечьей расчлененки? И психологической — в том числе?»

И еще отметим: проза о войне бывает либо военной, либо армейской — что чаще. Третьего не дано — гвардейской прозы не бывает.)

Люди смотрят. Смотрят подчиненные. Бойцы, команда. Люди...

Порт взяли позавчера, еще не отдымил. Брали его почему-то танкисты, дивизия «эсдер». Чернокипешники. Помолившись, экипажи спешили и пошли себе отбивать молы.

Эти засели на ногтях километровых асфальтированных пальцев, тыкнутых в энский залив, взорвали перешейки (средних фаланг) и пустили по водам — напалм. Или иную, но похожую — горючую гадость. Отгородились.

Вода горела метров на шесть в высоту, отрывались малиновые, угасающие в пепел — льдины каменеющей пемзы. А над всем этим великолепием, хотя и так хорошо видно черным по огненному, — еще наши навесили осветительные — потолком Большого театра.

Горела вода стеной белого непрозрачного тугого пламени. Паруся и лопааясь живыми пузырями.

С променада было и невооруженно видать, как уходили на катерах эти. На всякой надувной и рыбацкой спортивной мелочи — в Триполи. При официальном нашем попустительстве — топить котят не разрешали, на то высокая — с-с-сука! — политика... Им долбать из тяжелых пулеметов и эр-пи-джи по нашим, сколько влезет — пожалуйста, можно, а шархнуть по этим рудиментам из пушек и кончить бал — нельзя, не пожалуйста.

Так и уходили наши лапушки. На белом катере. В Триполи. На предмет посидеть там под зонтом, одуматься. Оценить жизненные ошибки.

Собственно, в порт русский попал, когда все уже было сделано, но пакгаузы и доки еще дымили жирно, как тушь по промокашке.

Под ноги вытекали, как грязная мыльная вода из-под дверей, ополоумевшие, обгорелые, полуживые струи — потоки крыс, пахло дрянным шашлыком. Крысы не любят огня.

Уже:

пластиковые пакеты с этими — слева.

Еще:

в углу, под стеной таможни, нашими пакетами занимался бронетанковый раввин, майор.

Русский не спал ту ночь, весь день между и опять всю ночь уже окончательного штурма. Медобслуживали штурм там свои, дивизионные. Но под утро и на батальонный пункт пошли раненые — густо, потом сразу без зазора настал вечер. Прижми — вчера, как сегодня, хоть с пристрастием — не вспомнил бы, что подлинно и последовательно творилось той ночью. Пожалуй, больше болтался, ноги набиты свинцовыми шариками, кульки с дробью, сновал, приседая возле носилок. Голос и посеичас надорван, с краешку.

Снял — насквозь (это потом, к утру) — липкую, тяжелую спереди — рубаху, а тогда он совал трокары, была бездонная какая-то тампонада.

Пятеро наших тоже тогда легли у стенки. Шеф, гинеколог из Кейсарии — старший врач полка,

болгарин Маркус, сказал: «Пошевелим» — и он разлетелся. Тоже мне «пошевелим»! — хлестанула брюшная аорта, фонтан в лицо.

Живых отправили домой. А его с его командой привезли в пустой порт и определили: ты, доктор, — здесь. Пакгауз. Ты и твои... кусочки... героев... Ты будешь «Хавацелет-4».

— Ага, — сказал он, — «Хавацелет-4».

— Понял? Ты ничего звучишь, док...

— Хавацелет четыре, — сказал русский.

— В пять сам обойдет посты. Понял?

А потом кусочки сидели по периметру амбара и пытались поужинать. А из темноты волшебным образом возник Джонни, извлек свои квадратные флаконы. Швили ходил и выпрашивал сладкое закусить, хоть шоколадную пасту, и у всех кончились сигареты.

Выпили все, даже непьющие. Всего делов: 2 литра на 10 человек, но алкоголь сработал как сапер — в хлам.

Мы все — знали друг друга довольно всю мою жизнь, хотя и всего: 32 неравнобедренных дня с начала нашей войны.

Швили, усеченный в фамилии как все «грузины» ЦАХАЛа — шесть щелчков языком не смог выговорить даже я (сам «руси», за глаза, конечно. Или «док», или, на худой конец, — «Михаэль»), Швили вдруг запел — как он сказал, «похабную» песню, построчно переводя ее, целомудрен-

но, невинно, на иврит. Он вообще был очень хороший, до наивности открытый мужик, — мы с ним здесь числились единственными «русскими».

Вдруг он заплакал и сказал, что в отпуск не поедет, по пути домой или из дому, из Нацрат-Элита — его убьют обязательно, а он, мол, не может быть убитым — у него дети. Я взял фонарь и пошел за шприцем с валиумом. Когда я вернулся, Швили уж спал, вывернувшись и разложившись по плоскостям, как у ранних кубистов (его не убили. Он просто не приехал из отпуска — открылась язва, это бывает). Остальные никак не могли угомониться. Чтобы как-то отвлечь и перебить лидерство Джонни, явно зря не опасавшегося возмездия за самоволку, но гулявшего гоголем, и чтоб как-то отомстить ему за «этот русский...», подслушанное за спиной, — я рассказал о начале своей военной карьеры.

(О, не верьте мне. В ту ночь я отправил мальчиков спать, не рассказав сказку.)

Но:

О, знаете ли вы, уважаемые, как куются герои? Знайте, из обычных выдающихся сочинителей вашей современности! вашего времени! Знайте. И заповедуйте потомкам, которые, конечно (по Менделю), будут похожи на вас!

И отверзли внимавшие уши свои, и лишь те, чей слух не обрезан, а в сердце — труха, как в

гранате расклеванном, а в душе — мушиный помет, — лишь они не слышали ни слова из 1 тысячи бисерных бусин, что рассыпал царевич на овальном подносе, и были глухи они даже к тишине.

Призван царевич был из глубинки, где работал анестезиологом в громадной больнице. За два года госпитальной практики, тоже по-своему забавной (однажды, по молодости и неопытности, у меня на аппендэктомии сел в середине операции крепко спящий пациент, забыл ему дать релаксацию. Хирурги попадали по сторонам, как бурелом. Меня в больнице любили, но в армию препроводили не рыдая, с облегчением) — я языком иврит — за ненужностью — не овладел.

Сплошь «русское» отделение с крепко спящими больными говорило приблизительно по-русски, включая заведующего, который русский выучил только за то.

В армии весьма толерантно отнеслись к тому, что я и пролепетать-то мог только: «Что у тебя болит, солдатик?» Но дабы я приблизительно врубался в жалобы на приеме, мне был придан невероятно оборотистый санитар из раншеприбывших, в функции переводчика и адъютанта, который вертел мной как хотел.

Лепорелло выписывал «гимели»-освобождения своим и чужим приятелям и за неделю-другую — слух о том, что в комендантской поликлинике си-

дит на приеме ударетый на всю голову русский доктор, — облетел Израиль.

Я стал невероятно популярен в кругах, и на прием «только к нему» стояла очередь от рынка «Махане-Иегуда» до «Шнеллера», где гарнизонная поликлиника. Прибывшая для расследования, — «а почему это я отправил на больничный лист по домам весь рядовой и сержантский состав Северного военного округа?» — комиссия, осведомившаяся, «не сирийский я, часом, диверсант-вредитель; разрушающий Армию обороны Израиля на корню и косящий Армию обороны Израиля под корень», — убедилась, что нет, а наоборот, патриот, — распорядилась высокая комиссия отправить меня на учения и с глаз долой.

Вместе с этим прохвостом. В первый же день умотавшим в сверхсрочный отпуск по трагическим семейным обстоятельствам.

Я остался один на один с маневрами. Очень полевыми, со стрельбой в цель.

К вечеру второго дня меня поманили в палатку штаба батальона. Я вошел. За столом сидели офицеры. С серьезными лицами.

Мне был задан вопрос, в котором несколько раз повторялось слово «груфот» (лекарства).

— О'кей, я понял, — сказал я, честно глядя в мужественное лицо центрального военачальника. — О'кей, я понял, что у тебя болит, солдатик? Я понял.

Вопрос был мне повторен, только медленно. Без явного раздражения.

— Не надо меня стесняться, — сказал я по-древнееврейски. — Если у тебя что-нибудь болит, солдатик, признайся мне подробно. Ведь я врач. У тебя болит живот? (И я показал на свой живот.) У тебя понос?

Офицеры оживились и о чем-то быстро залопотали между собой. Я отвлекся, рассматривая их походный обиход.

Карты, шеш-беш, пулемет. Мне нравилось быть в Армии обороны Израиля. Комары вокруг лампы. Ночь. Маневры.

Отлопотав, главный офицер подошел ко мне вплотную и повторил вопрос, но очень медленно и с другим порядком слов.

— О'кей, — сказал я, — я понял. Ты что-то не то съел? Ам-ам? Покажи язык. Вот так, как я. Хочешь, я померю тебе давление крови? Или ты хочешь в отпуск?

Я заметил, что остальные офицеры отворачиваются и стараются не смотреть на нас, и подслушивают, пряча даже профили от света. Некоторые, но младше — кашляли. Это навело меня на мысль.

— Бронхит? — спросил я. — Кхе-кхе? Дай я тебя послушаю, у меня с собой фонендоскоп. Раздевай с себя рубашку. Я понял.

Младшие чины начали покидать палатку. Командир сел.

— Доктор, иди отсюда, — сказал он.

И я опять понял, это был легкий иврит.

Перед сном я читал Киплинга и «Севастопольские рассказы», покуривал сигару и спал без сновидений.

Утром в палатке появился мой переводчик, розовый, ясноглазый и томный.

— Негодяй, — встретил я его. — Меня вечером зачем-то вызывали в командирскую палатку. Ступай узнай — зачем.

Вернулся Лепорелло, почти рыдая:

— Доктор, у тебя пропала сумка с лекарствами?

— А как же. Позавчерась и недосчитались.

— Так вот, доктор, — сказал он торжественно. — Вчера у тебя был твой первый военно-полевой суд. Тебя судили и оправдали.

\* \* \*

Он вышел на окованное ребро причала, к воде вниз срывалась лестница. Невдалеке — рукой подать — высоко торчала из моря отдельная корма с парой глупых, вылупившихся в воздух толстых винтов транспорта. «Добролюбов», — с необъяснимым удовлетворением прочитал русский. — «Порт приписки: Николаев». Тоже хорошая фамилия.

Понравилась ему и вторая, затопленная посудина: «Метафора» — по-гречески надписанная рубка, одинокая над поверхностью моря.

На леерах смиренно сидели чайки.

Что не удовлетворяло в их военно-морской посадке? И доктор, присмотревшись, поморщился: не чайки, а, пожалуй, вороны. Замутило. Он сфокусировал глаз и с неожиданной зоркостью увидел: в небо море не переходило, а отчеркивалось от.

Причем — сильной, точной линией. Дебет-кредит, сальдо.

Что-то его настораживало в этом волевым уточнении приблизительного (на первый взгляд) мира; второй — пристальный взгляд — опровергал переводную картинку, подкладывая непрошенные объяснения. Был и третий план — задник, негусто прописанный памятью: он обязательно где-то — нет — не видел, но чувствовал, испытывал подобное море Где? Ну? Так же внятно и отчетливо?

Крым! Коктебель.

Его зовут Миша Генделев.

Поступил в мед. Родители дали денег. Каникулы поступившего.

Собственно, вся последующая его жизнь, ежедневная — до каждого сна, после которого все сначала, до каждой дежурной смерти, — вся жизнь его была лишь уточнением и усложнением, реже опровержением в деталях того — «вот он! это я, Миша Генделев» — анонима.

Это было обретение права на владение именем и телом собственным, хотя и не очень закон-

ного права; обретение права на аренду этого своего тела, бессмертного безусловно.

Обретение имени, каким он сам именуется себя.

Право распоряжаться некоторыми деньгами (и право на мотовство, на неумение тратить, жадничая и искушаясь), право, например, пить подлое, дешевое тогда вино — доморощенную изабеллу, сколько он хочет и по обстоятельствам молодечества (со спазмами, конечно, — неудержимого сквозь руки — пристольного блева, позор, позор, какое это имеет значение, милый, забудь, право!).

Право на неожиданно нешелковистый, неожиданно крупный, распускающийся и освобождающийся, влажнеющий хохол в медленно мерцающем ее межножии. Право на открывающееся, углубляющееся, слабнущее — по мере передачи ему — отдельное от нее (ее, которая будет сама уточняться — каждую его смерть) межножие. Отдельно от нее (...а вот это я зря. Где я сейчас возьму ему Елену, сейчас, на пустом, раскаленном, высоком бетонном берегу, к которому причалено огромным бортом — чужое море. Где я сейчас возьму ему бабу, ему, испытывающему очевидное интимное неудобство, а в одной руке — ручка автомата, в другой — полотенце, он вообще-то идет умываться, совершать свой упущенный мойдодыр, где я возьму ему распахнутую девочку — именно сейчас, когда вождение скрутило его, —

что за садизм? — На тебе Елену, бедный!) — его (уже его!) раздвинутое ее межножие с на ощупь слипающейся ее темнотой, жадное — облизывающее пальцы нового хозяина. Взятое право.

Право новой геометрии и новой механики их тел (его и ее, которая будет уточняться каждую смерть), их демонстрационных муляжей. Насквозь пробитых в центре новой их теперь тяжести. В самое сладчайшее вонзенное — спицей скрепляющей их (даже разъединившихся).

Право новой геометрии, когда все предшествующее меж ними — с облегчением, долго накипавшим и разрешившимся — сменой кадра, — просто перенесено в новый центр удесятеренной их (с ней, которая будет уточнять свои черты и свойства в каждой своей смерти) общей тяги.

А важные когда-то слова и жесты разынтонируются, и он обретет право вертеть их тела. (А ее, разинутую, — вертеть хоть вниз головой, разваливая ее тело до нового открывшегося раз и навсегда — перекрестья ее симметрии.) Обретенное право растянуть ее на крестовине, право его!

Тогда, в Коктебеле, была коронация, он принял под руку мир, страшный по-своему, — Государь.

(Вытащите из-под его седалища трон, это хорошая шутка! Раз другого выхода нет!)

Это был честный мир приблизительности, на-вырост — чувственного переживания, мир, не требующий подтверждения себя извне.

Его «любили» и ему «изменяли», лишь поскольку он хотел любви и измен.

Он не спрашивал согласия на свои действия (не у кого), он делал что хотел.

Он полагал несогласие с некоторыми его возжеланиями — например, неудовлетворение его похоти — какой-либо особой, проведенной границей своего мира, определял несогласие с ним концом своей юрисдикции, концом света.

Все, что было не он, — обрывалось несуществованием (потом редактор вычеркнет) — он не знал, что умрет.

Поэтому он не знал, что он жив.

Когда он понял, что его морочат, и не понял кто, — он даже не испугался.

И теперь, уже посмертно, — он смотрел на синюю воду Коктебеля: в конце концов — раз было, значит, есть. Куда ж это делось? — спуститься по каменным ступеням к воде, набрать горсти с избытком, чтоб залезло в ноздри и защипало — любое умывание возвращало его в невзрослость. Ломит в носу! — чтоб защипало, он опять воскрес войти в эту воду дважды и трижды.

Ведь вот — оно?! Море?!

В жизни первая, невероятная, свободная — первая взрослая поездка на юг, была ведь?

Было, было, Господи, было: смерть тому назад. Не Средиземное было, а настоящее море, не сединная эта лужа, а неподдельное: море — юж-

ное, синее, морское — как надо? (Успокойся — как надо, так и есть: море не смеялось над тобой, море казалось тебе.)

Русский, клацая и цепляясь прикладом, носом к стене — сполз по вертикальной лестнице к металлическому листу над спокойной поверхностью, с трудом развернулся и по-собачьи стал на четвереньки. Неглубоко зачерпнул в горсть с амальгамы, пробил поверхность, разбил ее. И удивился зыбкому отражению. Навстречу ему, со дна, с задраным лицом и с раскинутыми руками, взлетал труп.

В абсолютно прозрачной безвоздушной воде они висели высоко над дном. В одинаковой позе подлета, безглазые, готовые к объятиям. Слегка, чуть-чуть, пошевеливаясь от токов течений, с пустыми серыми ранами. Рядом вертелись мальки. В абсолютно прозрачной воде Коктебеля.

# НОВАЯ ОДИССЕЯ

## I

Ну, не слепец!

Да не слепец, не слепой я, Михаил Самуэлевич! Кривоват — это есть, да и то не потому, что один глаз хуже открывается, а потому, что — наоборот — хуже все еще он, левый, закрывается.

Будь я слеп, как Гомер, картинки бы не отвлекали. Нашлось бы время и место посидеть в тьме крошечной, в интимной темноте черепа, с этой, своей стороны плотно зашторенных век, с этой еще стороны сна.

Посидеть, упорядочить, уложить в шестистопный дактиль русского якобы гекзаметра, и все записать на ощупь по методу слепых.

Но! но крутишь на манер филина башкой клюватою, но глаза выкатываешь — наглядеться б!

Впрок.

Чтоб впрок наглядеться, ну еще хоть немножечко.

И в размер и в метр не успеваю со всеми своими синекдохами и спондеями уложиться, жмет метр с глазетом.

Но стоп — в одном шаге — оно так: действительно, стоп оно по шесть на каждую ногу!

Славные хитроумненькие мемуары оставил бы лежать подле себя на песке мой фэйворит хи-роу (из литричи, камуван), мой любимый герой Улисс, Разрушитель Городов и на свой манер — тоже Великий Путешественник, кабы умел писать. Хотя бы — как я. Ан не царское это дело петь в письменности, и поручили усидчивому Гомеру, и вышло не от первого лица, что, без спору, придает дополнительную и даже избыточную эпичность, но — в ущерб героике и достоверности в ущерб.

А я, как общеизвестно, одинок, я страшно одинок — в смысле все сам да сам — сам себе царь, сам себе певец, сам себе писец. Сам себе Гнедич, сам себе Разрушитель Городов. По-моему, я сам себе и покрывалку тку, а по ночам распускаю.

Занятость, конечно, огромная. Отсюда поспешности стиля. Куда мне, торопыге, до эсхатологии, да архетипики, да онтологии — забот полон рот: то плач Приама издаю, то циклопам глазки выколупываю, то троянских пони на выборы ареопага нашего хренового запрягаю. Если у кого Елену сбондили — по волнам — у меня! Если кому соленой пеной по губам — мне, ежели Цир-

цея, она же Кирка, алименты взыскует и общественное порицание охальнику — мне! Сиренки поют — в ванной, Кассандры пророчат — в горнице.

И все время тянет на Итаку. Мучительный позыв: на Итаку, на Итаку, на Итаку бежайяй!

Ежемесячно то Борей в тыл, то Аквилон! И несет меня, о боги! И заносит меня от Стамбула до Геркулесовых столбов и носит от Гипербореи до Фив Египетских!

И как следовало и ожидать, понесло меня, о боги, в Афины.

Афины, скажу я вам, — примерный, не сказать нравоучительный такой город: т. е. до чего мы дотанцуемся («мы» — т. е. еврейский охлос, демос, этнос и прочая сволочь), если станем «нормальным» государством — нормальным государством региона, чего от нас все ждут. Это чтоб баранина и сиртаки.

В принципе Афины — Тахана такая Мерказит с Парфеноном на антресолях.

Парфенон — я одобряю. Однако не осмыслю до сей поры, как это столь милая нация усатых симпатяг, нация, в основном состоящая из обслуживающего персонала, да и подгадала в нецивилизованном прошлом своем подзастроить Акрополь, причем в основном из синего воздуха, между невзрачными серыми камнями, запрокинутыми вверх!

Ну, кто не видал Парфенона — тот даже не виноват, и никаких ссылок на то, что, мол, колоннада там в тютельку как на станции метро «Владимирская», только раз в сто огромнее, а аварийное состояние приказываю во внимание не принимать!

И, между прочим, вот еще что я осознал. А не пора ли альбионцам — вернуть на место фризы Гигантомахии из Британского музея? Поносили и будет. Аутентичным взглядом глядя на Акрополь, понимаешь, что с чужого плеча «Истребление гигантов» и даже англосаксам на вырост.

На сем культурные переживания в Афинах и по поводу Афин, оплакивания антиквариата и прочую туристскую культуркологию свернем. Не по деньгам.

Драхмы у меня иссякли сразу по приезде. Последнюю драхму я решил сохранить во рту: во-первых, надо что-то жевать, во-вторых — в случае чего расплатиться с Хароном.

Откровенно печальная одиссея моя начала оформляться полтора года назад. Ни за что не догадаетесь где. Где — «где»? В хорошем городе Москве, в московском притоне, где теперь старая еврейская богема Москвы дружит с новыми русскими за их счет. Представили мне спяну одного такого юношу, моего ровесника, который юноша раньше перебивался поэтом-авангардистом мутного разлива, но со временем опамятовался, хорошо и кра-

сиво оделся и поступил в предприниматели. Нового Русского Гостиничного Бизнеса.

Руслану почти принадлежал концерт «Элларус». Руслан со товарищи хаживал, как я понял, прибывать счет на ворота Царьграда и окрестности. Причем «Элла» — это не от ожидаемой «Эллады», по месту разбоя, а от наличия жены его Эллы Ефимовны, а «рус» — наоборот, от национальности Руслана Игоревича К-цмана... Тем не менее концерну принадлежали несчитанные отели по всему Пелопоннесу, о чем я, как выяснилось, должен был написать нечто вроде беллетристического панегирика в форме буклета, в связи с чем я, как выяснилось, уже получил аванс, причем вполне солидный аванс, причем с бесплатным билетом в Афины, питанием от пуза, проживанием гуляй — не хочу в дивных отелях Пелопоннеса, причем когда мне угодно и удобно мне, причем буклетик предстоял маленький, причем деньги конвертируемые и наличные, причем я их тут же и тю-тю.

О чем я, естественно, сразу же и забыл.

Очень удобный такой, апробированный, фрейдистский способ вытеснения из-под сознанки... Хотя комплексами в смысле халявы и обременен.

Это пару лет назад. А пару недель назад напомнили. Уважительно, на вы и вполне церемонно.

Кряхтя, я стал паковаться в Элладу. Устроили мне отвальную системы тризна, на которой триз-

не поминально съели и выпили всю мою кладовку, поскольку мне уже больше не пригодится. Аглаю утешали, что найдет себе другого, но еще лучше, девушка заметная. Вечер удался.

Гофрированного ночным перелетом, всего — в складочку, встретил меня методом по переписке (на вытянутых руках плакатик «Господин Менделев из Ерусалиму») — незнакомец весь в коже, но сверху еще и небритой. Представился «помощником Руслана», посадил в тачку системы «набережные челны» и привез в не то что без звезд, но даже без лычек и хорошо что галюн в номере. Я уже умом все понял, но боялся сам себе рассказать и поверить.

В номерах и ждал меня Руслан, тоже почему-то в кожаменителе, а не в малиновом презентационном московском прикиде. Нас оставили вдвоем. Руслан явно нервничал. Мне лично было неинтересно.

— Ну как вам? — сказал он тухлым голосом, обводя ошую и одесную гостиничное великолепие.

— Клево, — широко улыбнулся я.

— У нас тут заморочки, — приступил к делу Руслан.

«Не может быть», — подумал я.

«Может, еще как может!» — наверное, подумал глава концерна, но в дверь ворвался его помощник и под горячую руку, забыв о моем присутствии, — выпалил, верней, панически объявил: «Рогдай при-

летел!» («Следующим будет Черномор, — быстро подумал я, — и бой Руслана с головой. Я — не кажется, а безусловно вляпался».)

Руслан заметно посерел и что-то засобирился.

— Номер оплачен, — вспомнил он по-оперному в дверях. — Расслабьтесь, Михаил, мы вас найдем.

Ну что тут долго рассусоливать? Меня не нашли. То ли не до меня в поединках и ристалищах стало, то ли искать меня уже стало некому.

Как бы то ни было, меня не беспокоили за всю декаду в Элладе ни разу, не обременяли, не стесняли ни в чем, включая бессчетные, нуждающиеся в описании красивым моим слогом отели, принадлежащие «Элларусам», с халявными завтраками, обильными обедами, гомерическими пирами на ужин.

Не обременяли меня переезды на лимузинах и белоснежных лайнерах, не смотрели мы, тихо взявшись с Русланом за руки, ни на баснословные закаты, коими знамениты Дельфы, ни на рассветы над Коринфским заливом. А номер в неплеядной гостинице имени какого-то полубога был действительно оплачен на ближайšie 24 часа. Конец вставного эпизода. Спасибо, хоть жить остался, о Кайрос, бог моего несчастливого случая! Жив, но несколько стеснен в средствах. И одинок, о, как страшно одинок.

Ну, одним словом, в Элладе я прижился, даже понравилось. Больше всего мне пришлось по

душе два события: падение вперед зубами улыбчивого и до обморока зафотографировавшегося японца в могилу Агамемнона, что в Микенах (ценная дыра в земле, впрочем, довольно глубокая, хотя турист не зашибся), и то, как на меня (строгий пиджак черный, воротничок стойкой, в разрезике белеет свежая футболочка — пасторской степенной полоской. Взгляд из-под обеих век справедливый, снисходительный, место действия — Фарос), так вот, как на меня, не сговариваясь, в ногу перекрестилась четверка неорусских.

С блаалепием, размашисто, вся квадрага.

Несколько озадачивает — почему на меня? Если я и священнослужитель, то никак не местный, а маскарадно-лютеранский, что очевидно даже с похмелья. И если я даже священствую, то зачем на меня креститься?! Впрочем, кто их, богатых русских, разберет...

Остальные события моей одиссеи менее судьбоносны, но тоже достойны описания, толкования, комментария.

По порядку ежели, дело было так: встала, сразу по уходу Руслана, из мрака младая с перстами пурпурными Эос, ложе тогда покинул Михаил Самуэльевич (вкратце), платье надев, изощренный свой меч на плечо (!) он повесил; после подошвы красивые к светлым ногам привязавши, вышел из спальни и пошел осматривать памятник

«Байрону от Эллады» (изображает крылатую тетку, притиснувшую мраморного лорда к Греции). Памятник, на мой взгляд, вполне халтурный, Байрон еще ничего, хорошенький, как Сережа Есенин, но девушка на Грецию похожа только в профиль. В среднем женская Греция коротконогея, одевается хуже Афулы и везде надписи кириллицей «Шубы по низким ценам». Вообще же искушение читать по-русски, особенно вывески, неотвязно до мигрени. А поскольку греческий язык вообще прост и, по-моему, любое греческое слово означает какую-нибудь еду, в крайности — гадкий напиток, а с драхмами, как сообщалось, обстояло никак, — чтение расстраивало, а понимание пройденного близко к тексту и без того более чем.

Левант как Левант: от Керчи до Александрии, от Стамбула до Палермо — жуликоват, смышлен, но в меру, добродушен, подобострастен, хвастлив: вид на Яффо в ясную погоду... И кабы не Улисс, да кабы не Байрон в Миссолонги... Да что уж, право.

На билет на остров Идру (Гидру?!) я наскреб по сусекам, билет гордо приобрел, но на пароход опоздал. Несусь по Пирею, оглядываю нависшие титанически борта — какой размах, какой, извините, Онассис! — стяги реют, адмиралы честь отдают — несусь — причал под копытами дымится. Билет в кулаке, портфельчик на отлете. Язык на плече (там, где меч). Страсть как не хочется, или,

как теперь молодежь говорит, «в лом», — бродить по столице демократических Афин от раскопа до раскопа. Тоже мне перипатетика, понимаете, если буквально на каждом повороте натыкаешься на статую ихнего короля Оттона (был снят западным миром согласных французов и британцев с должности, кажется, за опрометчивую недалекновидность — поддержал Николая Палыча в Крымской войне. Сменили его, кажется, на покладистого датского принца) — этакого самца в петушиных перьях, мрачных усах, ростом с собственный ятаган, в латах, но почему-то в шерстяных носках.

Подстерегал меня этот статуй по всей Греции. Вообще, настоящие памятники в Элладе, зачем-то хорошо сохранившиеся, — обычно национально-освободительного содержания. Тут и Моисею бы захотелось морских путешествий. Представляете: парус, ростр, под палубой задушевно поют рабы, табаня. То-се. Нереиды.

Несусь по причалу Пирея. Ищу корабль, лайнер с красивым названием «Александрос Великий». В смысле Македонский. Чей культ в современной Греции, мягко сказать, парадоксален. Это все равно что Смоленщину застроить монументами Гедимины и продавать брелоки и безносые отливки, совершенно непохожие даже друг на дружку. Впрочем, в Элладе лишь по шелому да по сове и Палладу-то от Посейдона отличишь взглядом, и

езде, как в Ленмонументскульптуре, носы отбиты разные и культы — то левые, то правые. Не говоря о палицах и трезубцах.

Несусь по причалу.

— «Александр Великий», — ловлю наименее задумчивого на глазок грека. — Александр ваш Великий он райт? — кричу. — Магнус райт?

— Гуд — Александрос, гуд! — закатывает глаза спокойный человек. — Александрос — олл райт!

— Эллин, — говорю (дыша, как сенбернар в хамсин). — Эллин, — говорю ему. — Шип, — говорю, — он райт или он смоль, тьфу, лефт? Шип, — говорю, — «Александрос Великос»? Пароходос такой?

— Лефт, — говорит он не спеша, — это там, — и показывает честно влево. — А райт — там! Спасибо, товарич?

— А как же, — рычу, — еще как спасибо.

И рысью в конец причала. Где ровно райт вижу белоснежный лайнер «Александр Великий» с мою ванну величиной. Корабль уже гудит и роет воду, всем хорош линкор, хоть счас на Гидру, я прыг через леера и — впору отдышаться от восторга!

Отдышавшись, закуриваю. Тем временем на молу-причале становится оживленно и, несмотря на увеличивающийся зазор меж бортом и берегом, — шумно. На причале шмыгают смуглые неспокойные люди и что-то кричат; что, не слышно,

ибо корабль, несмотря на размеры, оглашенно дудит и все равно, рукой махнуть, языка не знаю. Но танцуют здорово. И пальцами тычут. Я подумал было, что не успел забрать при вылете на мол посадочный свой талон. Проверил билет: нет, все райт. Олл райт даже. Написано «Идра». «Александрос» опять же. Чего ж они там на горизонте так взволнованы? Впереди Эгейское море. Эгея! Теплынь. Плыви, Одиссей, плыви.

Вдруг меня посетило странное предчувствие нечувствительного ощущения. Меня посетило это предчувствие нечувственного ощущения даже не тогда, когда я увидел тоскливо отодвигающийся и уже в дымке, но с мелкими и четкими буквами «Александрос Макед...» и т. д. — борт какого-то речного трамвая, а посетило, когда я подумал, что лефт это слева, райт? А райт, наоборот, — справа. И что три четверти часа хода до Идры мы уже плывем вполне не каботажно. А Идры не предвидится.

— Эгея? — индифферентно спросил я у англосаксонского пассажира, ткнув в окоем.

— Охи! — сказал он. — Коринф.

Мы вплывали в Коринфский залив Ионического водоема, кстати.

— Красиво, — рассудил я. — А что, извините, — интересуюсь, — конечный пункт назначения нашего будет?

— Итака.

Итака наводит на некоторые, обидные для итакского патриотизма итакцев и итакчанок размышления: может, Улисс таки знал, что делал, затягивая путешествие? Чтоб подгадать вернуться аккуратно к серебряной свадьбе? (Приблизительно так следует понимать 40 лет турне наших прапра- по Синаю: виды красивые. Не Катамон, ох, не Катамон...) Однако постепенно, постепенно...

...Постепенно Великий Нерусский Путешественник сообразил, что дела его швах. Драгм в кармане ровно на мороженое, и долуг путь до Типперери, не говоря об обратно. С билетом на остров Гидру, конечно, можно доплыть до Итаки (если воровать пищу у зазевавшейся в схватке с морскими пиратами матросни, спать вместе с гребцами или продать себя в рабство к симпатичным рабовладельцам из туристок поблондинистей) — но обратно? в ставшую почему-то такой родной — столицу суфлаки, сиртаки и бузуки, в Афины? Где билет, в свою очередь, в мансарду, где томится, в свою очередь, предчувствиями Аглая. Где хорошо, где сухопутно, где скоро отключат телефон. Нет, нет, пусть отсохнет моя правая рука, если я забуду тебя, о Иерусалим! За борт?

Плавать Михаил С. Генделев умеет. Он умеет плавать в джакузи, в ванне умеет. В Зеленогорске тоже умеет, хотя и холодно ниже пупка.

Лайнер «Александрос Великос» начало ощутимо качать и уже хотелось перекусить...

Плыть в изумрудном волнении, при полном знании, что вот этот бинтик на горизонте — и есть Эллада, а Пелопоннесик вообще истаил — нет! Генделевы этого не любят. Навыки водоплавания отмерли вместе с рудиментными пионерлагерными ластами. Хвост — он да, он есть (так считают, по крайней мере, многие новые репатриантки). Наверное, он — хвост — плохо взбивает бурун за кормой. Нет, безусловно нет! Никаких водных процедур.

Калоша «А. Македонский» имела, как выяснилось, — шагов 25 от носа до хлюпания винта и шагов сильно меньше от леера до леера, если даже обойти трубу и капитана в будке. Дураков на Итаку было насчитать по пальцам штук пятнадцать, из которых уже половину тянуло не то чтобы блевать, но за борт не смотреть. Путешествие грозило удалиться на славу. Признаться, я пригорюнился.

Пригорюнившись, я стал автоматически подпевать. Слуха у меня нет (что не мешало мне однажды судить в жюри с Кукиным конкурс самодеятельной авторской песни иерусалимского разлива. С другой стороны — что мне только не приходилось судить, включая «Мисс Бюст Нижнего Новгорода». Хотя сам бюст не ношу), музыкально-вокальных данных кот заплакал, хотя могу громко.

Пою я обычно как раз в связи с водой. Принимая душ, например. Раньше, во время моего вокализа

а капелла, приходили соседи снизу — тихие незлобивые иракцы, спрашивали: «Что случилось?» Теперь они старенькие, им — иракцам Бузагло — тяжело карабкаться на мой чердак, плонули, смирились.

Так вот, стал я автоматически подпевать. «Стюардесса по имени Жанна» называется песня. Я тем, с правого борта, оказывается, начал автоматически подпевать. Они удивились, пришли на голос знакомиться. Люда и Мила, бизнес-леди. Из ближнего зарубежья Караганды. Вместе они весили четверть тонны. Хохотуньи. У них, кстати, имелось кроме того, что им Б-г дал (а Он дал!), еще и чего Б-г послал, в том числе литры «Метаксы». Морская болезнь на хохотунь не действовала, а с греками (девочки их называли «чурки») бизнес-леди, по их словам, не спаривались. О бизнесе своем отзывались туманно, все время поминая недобрым словом «кинувшего их» Изьку. Плыли «мир посмотреть, себя показать». Показывали они себя в многократном золоте (серьги, зубки, колечки), брюликах и других драгметаллах. Милка носила норку, а Людка ангорку.

Любознательность их была безгранична. В виду Миссолонги за бортом я им близко к тексту подал горестную историю лорда Байрона Д. Г., этого гордого солнца английской в переводе Маршака поэзии, этого «из тучи сознания блещет молния» (впрочем, это, кажется, из Шелли Перси Биши), в общем, по нашему с Людкой и Милкой консенсусу — клевого чувачка.

Народно-освободительную деятельность лорда девушки не одобрили, но художественное стихотворение:

А что любовь? Разряженная кукла,  
Чтоб нянчиться, сюсюкать и ласкать и т. д. —

произвело должное впечатление.

На каденции перед финалом —

Явите в целостности мне  
Тяжелый жемчуг, растворенный в чаше... —

(шел второй час второй литрухи «Метаксы», так что вы можете меня понять. — М. Г.), так вот: «...растворенный в чаше...»

Египетской царицы, — и тогда  
Я соглашусь, что есть у вас любовь  
А не одни кастановые шляпы! —

девки мрачно потупились, а я вспомнил, что это не Байрон, а таки Перси Биши, но этого им не сказал, не хотелось огорчать.

Любопытная вещь поэтический темперамент. Возьмем лорда, ваше здоровье, девушки, возьмем Джорджа Гордона: дивной красоты самец, материально обеспечен, 42 года в стране, + 3 (?), ну максимум + 5 (?), разведен. Ни в чем себе не отказывал, включая в сестренке. Стихи писал в коли-

чествах, причем в громадных, надо сказать, стихи. Один Жуан чего стоит, особенно в переводах Гнедич Татьяны Григорьевны, знал могучую старуху, царство ей небесное.

Стихи писал классно, про жизнь понимал лет на полста вперед, темперамент таланта имел не надувной, девочки и мальчики под него в очередь стояли, телефон не отключали, в газету не воздвигал колонки.

Нет, потянуло, понимаете, и ведь не мальчик — в годах мужчина, — потянуло принять участие в нац. освободилровке! О каковой сочинитель К. Прутков, тоже изрядный стихотворец, так справедливо воспел:

Так зачем же жив Костаки  
если в поле Разорваки  
пал за вольность, как герой?...

(цит. по памяти. — М.Г. Тем более, что качает).

Оживал Байрон, сидючи в райцентре Миссолонги, по его же словам, только когда в плен к его диким барбудос, чегеварос и прочим товарищам по партизанской борьбе попадали турецкие офицеры. В отличие от вонючих повстанцев, образованные, в Йелях да Сорбоннах дипломированные, языкознатцы, Байрона Д. Г. цитировавшие наизусть и, в отличие опять же от соратников, знавшие, кто такой Прометей (тьфу

ты черт, вона опять опростоволосился! «Прометей» написал Перси Биши Шелли. Это Китс написал «Гипериона», а Перси Шелли Биши — как раз «Прометей»! Вот я и говорю... — М. Г.). И кто его написал.

Но и прежде, чем турецких корнетов скупые на слова, но суровые в душе свободолюбивые элины использовали по своим небольшим сексуальным надобностям (старинный партизанский обычай), свободолюбивый лорд мог с ними (турками) перекинуться парой свободолюбивых слов о том о сем. О том, что «поэзия — самая верная вестница, соратница и спутница народа, когда он пробуждается к борьбе» (Перси Шелли Биши)!

И что это нас, стихотворцев, поэтически широко мыслящих людей, не дураков, вопреки общественному мнению, и рационалов (тоже вопреки — без отточенного рационального сознания да и вообще без серьезного аналитического аппарата, без отточенного интеллектуального инструментария — хрен что толковое напишешь! Знаю, что говорю. Это:

То, что «поэзия должна быть глуповата»,  
у них в России вроде постулата.

*Михаил С. Генделев*  
*«Уединенное», 1998*

А по сути, девочки, Пушкин А. С. имели в виду поэтическую отстраняющую «глупоту», не прозаич-

ческую глупость современных письменников... И уж никак не руководство к действию. Байрон, Перси, да и сам А. С., поумнее в поэзии, чем в прозе. Да и в жизни... — М. Г.), так вот, что это нас, сочинителей стихов и поэтов, так несет на соленькое?

Что это за эксперименты с моралью?

Ну в пидарасы податься — святое. Без легкой секс-абберации мало кто может.

Ну не моногамны мы, мягко говоря...

Ну повесил Гаврила Романыч мужичонку из пугачевствующих. И современнички пошептывались, что из любопытства истязал и замучил...

Ну рапорт офицеров-сослуживцев с просьбой отчислить поручика Лермонтова Михаила из полка за жестокость: ходил с казаками (не офицерское, понятно, дело — резать) на замирение аулов. А когда возвращался, рукава черкески — по локоть. Да-да, вот именно, ручная работа.

Ну отмаливал же кое-что Блок А. А. И не мог, не мог отмолить...

Ну, это не говоря о тяге всей юго-западной школы к ГПУ, неоднократно воспетой (но это мелочь).

Конечно, поэтов тянет к крови. Как перевеситься с балкона.

...Среди поэтов редко встречаются профессиональные солдаты. И отношения поэтов со смертью, как правило, — домашние, бытовые. Некоторые

женятся на смерти. Боль, мука, жестокость — дело другое.

Но поэзия — не мирное, не вегетарианское занятие, ой, не травоядные стихотворцы! И в жизни, и в стихотворчестве. С брызгами.

Поэтому наши многие так плохо кончали. «Пушкин застрелился из Дантеса». Лермонтов, как известно, из Грушницкого, а о прочих — скучно. Блок умер от смерти.

Байрон, по-моему, умер от Миссолонги. Судя по тому, как она выглядит сейчас.

И все-таки что-то в этом есть, в желании заглянуть в бездну... у бездны одной на краю.

Я вот думаю, а почему это у русской поэзии 20-го века такая барахляная военная лирика? По-моему, кроме «Враги сожгли родную хату» (это я серьезно) да никогда не воевавшего Высоцкого (и это я серьезно), в 20-м веке на русском языке только ахали, да побрякивали: «Когда на смерть идут, поют...» Где «Валерик», милостивые государи? Где «Ты идешь на поле битвы»?..

Полагаю, что сия малахольность (в русско-сказительном культурарианте) проистекает как из характера самих «русских» войн (они тотальны — и первая, и Гражданская, и Великая, вторая мировая, Отечественная. Тотальны и посему — надличностны), так и по утрате поэтами 20-го века элементарного навыка приведения объекта описания (войны) и строя сознания (лирического

сознания) к общему знаменателю. Другими словами, сам тотальный (всеобщий) характер не позволил персоне поэта стать в один ряд (лирика, блин!) с персоной войны. Поэты не доросли до войны, война не согласилась на карманную психологию. Эпос? Ну конечно! Но не популярный «Теркин», а скорее — популярная «Идет война народная...». Однако мелкие сиротские деньги все это, если оценить масштаб войн. Как цивилизационных феноменов.

И странная загипнотизированность либерального (а теперь тип мышления у поэтов — либеральненький) Парнаса мантрой «пацифизма»...

Меня не удивляет стерильность современного русского поэтического сознания (его, сознания, вообще — раз-два и обчелся) во всем, что касается онтологии: Бог, смерть, бессмертие, война, кровь, любовь; меня удивляет безразличие наблюдателей к этим зияниям! Неинтерес — к существенному. Неинтерес — свеситься с балкона.

А с другой стороны — какая (афганская, чеченская) войнишка, такие у нее и поэты... Не надо о грустном, девочки. Давайте еще по одной.

Ну что сказать — дыра как есть дыра, эта самая ваша Миссолонги. Тем более что там мы, то есть обе леди и я, ваш корреспондент, отстали в поисках очередного литра «Метаксы» от парохода. Причем девочки, пока я им рассказывал, за-

были багаж. На борту. Включая пудреницы. Так они ополоумели от трагической истории Перси Биши.

Оказывается, основная проблема Улисса была лингвистической. Обе эти коровы — ну что с них взять, с карагандинок заплаканных, но Великий Нерусский Путешественник, невзирая на «Метаксу», должен, нет, просто обязан быть побойчее. В процессе фрахта то ли глиссера, то ли скутера — в общем, чтоб побыстроходней, порасторопней в деле настигания белоснежной калоши имени Искандера Двурогого.

Плохое знание (ин) языка  
идет на пользу мимике и жесту —

как отметил в неопубликованном мой соавтор О. Ш-ков, наблюдая, как его старший товарищ Игорь Александрович Л-ский пытается договориться с румынской проституткой. А вы пробовали, не владея ни «койне», ни «понтийским», ни даже древнегимназическим, нанять, глубоко за полночь, в порту — что-нибудь водоплавающее и быстренько?

Нам предлагали гондолу. Я почти был согласен. Но Милка заартачилась, полагая, что я слишком интеллигентен для гондольера.

На что Людка басом сказала, что и среди мелких интеллектуалов встречаются хорошие люди. «И такие затейники...» — подумав, добавила она.

А Мила, Мила просто изнемогала, кисла от хохота — ей очень понравилось слово «гондольер».

— Гондольер, гондольер!!! — на все лады повторяла она. — На себя посмотри...

Я посмотрел на себя: а че?!

Наняли мы нечто на подводных крыльях. Хотя эллин с усами и значком «Мишка — Олимпиада-80» и лопотал что, мол, раньше эта железка работала броненосцем, грузоподъемность у лодочки была не под Милку и уж никак не под Людку.

У корабля есть такая важная штука. Называется она ватерлиния...

Проблема, ставшая перед нами, была алгебраична:

или Людка плюс Милка плюс морской грек минус я — получится, что я брык и за борт;

или Людка плюс я плюс Милка минус грек — получится, что я за капитана.

Так о чем бишь? Корабль, оказывается, может плыть и без важной такой штуки, как ватерлиния, и называться при этом красиво. «Папа». («...бузукки, ставраки и папа Сатырос»). Крылья у челна не всплывали.

Людка с Милкой хохотали ихтиологическими голосами морских чудищ; я сидел на закорках у военно-морского эллина; вокруг в волнах резвились тритоны и nereиды.

Шкипер наш оказался столь страстным поклонником Милки и «Метаксы», что шаловливо норо-

вил одной смуглой рукой задрать руль, а второй расстегнуть якорь.

«Будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней», — некстати подумал я, гикая.

Девушки грянули «Стюардессу по имени Жанна».

Ни огонька. Легкое волнение Коринфского залива, стрекот двигателя...

«Жизнь, — подумал я. — Всюду жизнь. Знаешь что, Пенелопа, — подумал я, — распускai-ка свое покрывало. К обеду не жди. Твой М.»

### 3

Пароход мы — то есть бизнес-леди Милка и Люд-ка, капитан катера «Папа», на прощание назовем его Сатырос, и Великий Нерусский Путешественник д-р Михаил С. Генделев — настигли, он был вял и томен, пароход, пассивен и по взятии на бордаж особо не рыпался.

Но: боевых подруг я потерял. Ой, не зря сосал грек даровую «Метаксу» и подпевал без акцента «Стюардессе по имени Жанна», ой, не зря свободной от вахты мохнатой дланью он удерживал Милкин круп от падения в воды Коринфского разлива; девочкам расхотелось на борт «А. Великого Македонского».

Свел лукавый грек моих ледь.

Обеих. Вопреки посадочной ледь декларации, что, мол, с местными чурками не спариваются карагандинки.

На зыбком рассвете состоялся обмен ценными подарками: меня в форме тюка подняли на борт в обмен на суммы переметные Людмил. В промежутке имели место поцелуи без любви.

Грек безвозмездно огреб четверть тонны сладкой карагандинской плоти, отчего несколько ошалел, однако держался молодцом за обе талии, отлично улыбаясь.

Леди отдавали честь.

Меня одарили «Метаксой». Я горько усмехался изменщицам: я одинок, я страшно одинок!

В довершение всего на меня — усталого, невыспавшегося, изрядно соскучившегося по Родине — накакала одинокая чайка, специально проложившая курс вольного полета на бреющем: чтобы метко.

Наверное, это был альбатрос, судя по едкому гуано.

— К счастью, к счастью — утешал меня капитан «Александроса», — такое бывает редко! Мазалтов! Ю а лаки.

Еще бы, подумал я. Стоило родиться в городе на Неве, в простой еврейской семье сов. служащих, единственным, но недоношенным и желанным ребенком-мальчиком; стоило два десятка лет хлебать молоко и мед, затягиваться дымом Отечества, любовно выбирать себе врагов, тренировать спецподразделение Аглай, постепенно выводя их в люди, обустроить свой чердак до возвы-

шенной мансарды, дружить с Ларисой Герштейн, неоднократно остаться жив, чтобы... На глазах всего Коринфского, чтоб он мне был так нужен — залива. Конечно, к счастью! Никаких сомнений.

Плащ придется выбросить.

Когда мы пристали к Итаке, не помню: смогло. С возвращениями вообще в этом мире неблагоприятно. По-моему, нельзя не только дважды войти в одну и ту же — ну, скажем реку, это черт с ним, обойдемся, — но что нельзя, вообще ничего нельзя дважды, невзирая на романтические уверения беллетристики. Нельзя дважды выпить одну и ту же стопку, войти в одну и ту же семью, прожить одну и ту же премию имени Цабана, съесть один и тот же пуд соли. Даже поцеловать одну и ту же прелестницу — бац! — она, пока целовал, постарела.

Я пробовал возвратиться в Ленинград в 1987 году. Чудовищное, скажу я вам, впечатление. По-видимому, это имел в виду мой друг, классик израильской поэзии, полковник Х. Гури в моем вольном переводе...

1.

Возвратясь

он

обнаружил на месте Адмиралтейства

так примерно

и обнаружил:

Михаил Генделев

волны залив дельфинов хляби  
за гребнем гребень  
водоросли  
прибоем качались мерно  
солнце  
зависло над  
краем неба.

2.

«Ошибки всегда повторяются дважды.  
И дважды, — сказал он, —  
м-да...  
им следует повториться».  
и  
повернул назад  
к перепутью торной  
чтобы  
узнать дорогу к своей столице  
к городу  
что волнами никак уж не был.

3.

Усталый он  
вел  
себя  
как  
через сон вброд через гул базарный  
толпы  
чей греческий был им теперь понимаем трудно  
собственный  
его провианта запас словарный  
порастрясся  
странствовал он покуда.

4.

На миг ему показалось  
что  
в сонной ветоши груди  
вдруг он очнулся  
такое бывает вроде  
встречные не узнавали его  
новые эти люди  
даже  
и  
не  
удивлялись  
бронзовой его позолоте.

5.

Он  
их выпрашивал  
знаками  
слов не хватало  
дорогу к дому  
встречные  
честно пытались понять его бестолково на паре сотен  
законных слов  
отчужденно и незнакомо  
пурпур  
все истончался и истончался  
на горизонте.

6.

Вышли взрослые  
развели по домам дикую стайку  
потных

М И Х А И Л Г Е Н Д Е Л Е В

детей с резко пахнущим телом  
детям  
идти не хотелось  
одно за другим в домах загорались окна  
все  
загорелись  
и  
враз  
стемнело.

7.

Пришла роса  
и запуталась в его космах  
будто  
упала роса  
ночная  
глаза заклея  
ветер  
едва не лая  
как пес  
поцеловал его в губы  
пришла вода  
как старая Эвриклея.

8.

Пришла вода помыть ему ноги  
омыть его ноги как Эвриклея  
но  
не узнала шрама  
и  
поспешила дальше  
себя толкая  
дальше журчать по склону

## ВЕЛИКОЕ [НЕ]РУССКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

все тяжелее  
вниз  
как свойственно всякой воде  
стекая.

С возвращением на родину кое-как, а с Итакой вообще из рук вон.

Во-первых, у «Метаксы» есть побочные, но очень остаточные эффекты, и как следствие этих последствий — меланхолия, утрата любопытства к историческим памятникам напрочь, несмотря на пиво и оптальгин, вздорность, ворчливость и денег нет.

Во-вторых, Итака — вообще никакая она не остров Итака, а вместо Одиссеевой Итаки нам, израильским туристам, подсовывают какую-то завалящую и не находящую сбыта «Ифаки».

Вот именно.

Я понимаю, что нервы как струны, что голова идет кругом, но и это еще не все! Горькая правда еще отвратительнее подлинной истины. Мало того, что вместо Итаки — Ифаки, но этот о. Ифаки еще и не Итака.

Поскольку настоящая Итака, как доказал проф. В. Дерпфельд, это о. Левкада! Который о. Левкаду лишил почетного звания «Итаки» за какие-то промашки по службе, если не аморалку — ср. популярное афинское выражение: «Все левкадийцы — педики!» и античную дразнилку: «Как по речке Ахелой...» и т. д. (вымарано цензурой), а

также сатиру «Мы, спартанцы, — молодцы...» (пер. Апта) — и переименовали в Левкаду, временно назначив Ифаки (вы следите за ходом моей мысли?!) исполняющей обязанности Итаки в связи с наплывом туристов.

Мало того, что Итака не аутентична, так она еще, на внимательный и непростодушный взгляд, построена арабскими рабочими с территорий на небольшие деньги в долг нашими кабланами. Состояние построек возмутительное, многое — в основном бордюры и капители — осыпается, Загородная Вилла ц. Одиссея в аварийном состоянии, Станок Пенелопы разохся, Лук Улисса расхищен, итакчанки совершенно не крутобедры, а плоски как, не к ночи будет сказано, какие-нибудь левкадийки.

В могиле Телемака — обнаружен не героический прах Одиссеева сына, а, наоборот, коза, вероятно, из стад обслуживающего персонала.

Дома героев и полубогов стоят без крыш; сантехника зверски раскрадена.

О патио я не говорю — слезы, а не патио!

Очень хорош местный военно-исторический музей, но он закрыт и с пивом не пускают.

На колоннаде (дорийского ордера) надпись на арамейском языке «Шмулик», «Гивати» и дата дембеля. Так плюс еще «географическое описание о-ва Итаки в гомеровском эпосе мало соответствует природе современной Ифаки» («Словарь ан-

тичности», Эллис Лак, изд-во «Прогресс», Москва, 1993, стр. 237).

Ха! «Мало соответствует...» Ни хрена не соответствует! Я вас русским языком спрашиваю — покровительствовала Афина Паллада, богиня, а не хухры-мухры, странствующему царю или не покровительствовала?! А если она (б. Паллада) — покровительствовала ц. Одиссею, то почему у нее (б. Паллады) нос отбит и сова отвалилась в нетоварном состоянии? Почему на Итаке (вопреки гомеровскому эпосу) не «благоуханно», а наоборот? И дождик?! (О чем, м. п., в эпосе — ни слова!)

И с эпосом тоже надо разобраться. Прежде всего, в эпосе все перепутано, все с ног на голову. Возьмем, например, популярный, общенародно известный и мой любимый итакский эпизод с истреблением пеллопых женихов с помощью легкого стрелкового оружия, пресловутого Одиссеева лука! Все помнят эту милую сценку из жизни (см. маловысокохудожественную цветную и музыкально-звуковую ленту «Странствия Одиссея», США, 1954 г.).

Царь приезжает на побывку, полон дом претендентов на его супругу, но никто, вы понимаете, не имеет должной физподготовки! чтоб согнуть мемориальный лук. Гнут-гнут — кишка тонка. Ну, Улисс лук гнет, тетиву присобачивает, калену стрелу сквозь сорок секир — бздынь! — и в яблочко. А потом персонально отстреливает женихов на память Пенелопе. Чтоб знала.

Так вот, я тут провел кое-какое журналистское расследование. Дамы и господа, дорогие мои читатели! Братья и сестры! Вас долго инструктировали, надували, обманывали, пользовались вашей простотой, лапшу на уши вешали, обували, водили за нос, вводили в заблуждение, скрывали правду.

Но — шубу в мешке не утаишь. Лук сгинул не Улисс Градобитель, Одиссей хитроумный и царь Итаки! Лук на самом деле сгинул небезызвестный «Рама», «прекрасный как месяц» Рамачандра, который, бестолочи, седьмая, не много ни мало, аватара самого Вишну! И фамилия которого — не Вишну, а, понятно, Рамы — Рагхава.

Так вот, оказывается, это не Улисс, из желания показать, кто хозяин в доме и что способен — смотри у меня, Пенелопа! — согнуть и не такое, а именно Рама согнул (и даже сломал) лук Шивы, выпендриваясь перед своей нареченной Ситой! А Одиссей здесь, вопреки легкомысленному компилятору и вообще подозрительно падкому на авантюрные сюжеты в погоне за легкой славой Гомеру, — ни-при-чем!

Ни слова в «Рамаяне» о водоплавающем царьке! Я не поленился, прочел все 7 пудов почтенного памятника арийской литературы. И что? — никаких улиссов!

Молодежь спросит: а где ж это мог Улисс достать Шивин лук? Тем паче что Рама его уже сло-

мал и к истреблению он, стрелковый спорт-снаряд, непригоден?

Хороший вопрос с мест. Отвечаю.

Я уверен, что эпизод с луком Гомер попросту выдумал! То есть — женишков, конечно, царь за-жмурил, но не столь аттрактивно. С ними, жениш-ками вдовы, при живом-то муже надо построже. Опять же хороший наглядный живой пример под-растающему Телемаку. (Дом. задание: работа над ошибками.)

Кстати, о Телемаке. Мало, преступно мало мы уделяем внимания работе с молодежью, редко мы ставим себя в живой пример.

А к чему ведут недоработки на этом важном педфронте, живо повествует нам мифозэпическая и псевдоисторическая хронь.

Жизнь Одиссея небогата приключениями. Она общеизвестна: сватался к Елене Прекрасной, но раздумал, выбрал домовитую двоюродную Пенелопу, был на Троянском фронте, получил благодар-ность от полковника Агамемнона, получил орден и легкую инвалидность, путешествовал, избег Хариб-ды, слушал сирен, ослепил Полифема и т. д., и т. п.

А ведь есть, есть изюминки! На острове Эя жила и властвовала одна способная парапсихологиня, женщина нелегкой судьбы, умница, волшебница и красавица Цирцея. Она же для своих — Кирка. Та, что мужчин — в свиней (см. «Общество чистых тарелок»). Я таких дам знаю, тяжелые в быту девушки.

Короче — приспала Кирка от Одиссея дитятку. Назвали мальчика Телегоном. Шли годы. Мальчик вырос в крепыша, приехал навестить папеньку на о. Итаку (ту, настоящую, что «мало соответствует природе Ифаки»), папу встречает, не узнает и, естественно, мочит отца родного. «После запоздалого опознания (каков слог! как пишет д-р В. Н. Ярхо! А он знает, он, Ярхо, знает!) Телегон забирает тело Одиссея, для погребения, на остров к Кирке!»

Какие выводы можно сделать из приведенной в идеологических целях душераздирающей истории конца О.?

Конечно же, что за детьми от парасихологинь нужен глаз да глаз! Разве поступил бы так с папой Телемак, хотя тоже рос без отца? Но простая хорошая мать Пенелопа, не отвлекаясь от ткацкого стана, нет-нет да и погладит Телемакчика по белокурой головенке, широко вздохнув — «безотцовщина»... Не то — «волшебница» Кирка. Нет-нет, что бы мне ни говорили, хороший эдипов комплекс, действенный и эффективный, в ребенке может воспитать только мамаша.

#### 4

На чем мы остановились? Мы остановились на скучной, но актуальной проблеме безотцовщины, обсуждая нелегкие судьбы единоутробных мальчишек Телемака и Телегона, Одиссеевых щенков со-

ответственно от ткачихи Пенелопы и женщины-экстрасенса Кирки (Цирцеи).

Что мы знаем о мальчиках? О мальчиках мы знаем много, причем — нехорошего.

Старшенький помогает отцу отчетливо и радикально — снабжает папу боеприпасами во время истребления женихов своей мамыши (и папиной законной супруги).

Потом помогает отмазаться от родственников убиенных — мол, никакой неловкости не произошло, подумаешь, папаша погорячился, нервы стали никуда в странствиях...

Поближе познакомившись с возвратившимся отцом, смысленный пубертатный подросток, конечно, не может пройти мимо многократно, гнусаво, нараспев повторенного ему, домочадцам и всем интересующимся бомжам сюжета: голого его папашу приносит волна прибоя и прибывает, как следует, к курортному побережью государства Феаков.

Тут, кстати, как раз дочка феакского государя Навсияка затеяла постирушку. Навсияка дышит Улиссу рот в рот, реанимирует и нагишом во дворец к собственному — царю и отцу: смотри, батя, кого принесло.

Между царевной и находкой возникли теплые отношения, вспыхнула противозаконная страсть. Но Улисс, как и всякий путешественник, конечно, царевну бросил, не любил непоседа долго лежать на одном месте, не ночевалось царю, предпочитал перемены.

Короче, Телемак все это слышит, на прыщи мотает, чистые глазенки переводит то с маман собственной, что опять к пальцам тянется, то на папаню, смакующего подробности своих военно-морских измен.

Тут и к Фрейду не ходи, все в руку, прогноз в ладони... (Я интересно рассказываю?)

Зададимся: мог ли Телемак, после всего неприличного, услышанного и пережитого ночью под одеялом, мог ли Телемак после этого не жениться на Навсикае? Как бы вы поступили на его месте? Особенно сегодня, в конце неблагоприятного второго тысячелетия, когда, как сообщила Майя Л. Каганская, — Зигмунд Фрейд уже изобрел свои комплексы, развил их и привил всему прогрессивному человечеству?

У Гете, кстати (см. «Итальянское путешествие»), сей брак рассматривается как дефективный и тем более непрочный, что бедная царевна, пожив от пуза с этим монстриком Телемаком, вообще в позднеантичной традиции наложила на себя руки.

С Телемака же (см. ниже) как с гуся вода. С гуся, с гуся, с гуся — о чем бишь мы?

Ну вот, опять отвлекли! Мы как раз каботажно проплываем мимо — не волнуйтесь! всем все хорошо будет видно! — мимо нудистского пляжа, которым славится побережье Ахайи.

Самое интересное на нудистском пляже — это не нудистки, не нудята, не нудиты. Самое интересное на нудистском пляже, даже мне! — это нудистствующие!

Что нудисты? Ну, ходят голыми люди. Еще русская классика отметила, что под одеждой все голые — и тургеневские девушки внутри лифчика голые, и Дани Давидсон внутри себя гол, и даже Лимор Ливнат — эка невидаль! Вслед за Азазелло могу успокоить, что за долгую свою многопрофессиональную жизнь и нетрудовую деятельность я видывал женщин и вообще без кожи...

Меня и задаром не подрядишь поглазеть. Мою ровесницу-поэтессу хоть сахаром обсыпь — сомнительно возбуждает воображение! Не говоря об вдохновения полете. Разнузданной фантазии моей. Особенно — поэтессу.

...От своего же изображения нагишом — и не на нудистском пляже — я вообще предпочитаю отворачиваться в общем и целом, особенно когда бреюсь:

О, почему мне грудь стесняет грусть,  
хотя я регулярно брею грудь?

(М. С. Генделев, «Уединенное»)

Ср.:

— Вас освежить? — царя Одиссея спросила Цирцея, сифоном с ароматическим одеколоном к нему подойдя.

— Ну его! — сплунув, поморщась, отвечивал царь Одиссей.

Самое интересное на нудистском пляже — незаконные приبلуды, проездом выдающие себя за

нудистов. Наиболее величественно на русском языке:

— Колюнь, а чего они здесь тетки — страхолюдины?

— Не на красавиц пришел zenки пялить, Леонид Саныч!

— Красоты не напасешься... И за границей — дефицит.

— Колюнь, гля, Колюнь, цицки ж ниже пупа волочит, а все в нудистки, гля, Колюнь! Это самое и у моей есть... и т. д.

Но одну ослепительную реплику Леонид Саныча все ж приведу:

«Если она голая — такая, то зачем ей раздеваться? Ходила б как человек — лифчик там, трусы, по крайности — бюстгальтер, а, Колюнь?»

Решительно не одобряют странствующие новые русские, средних, судя по прическам и часам (на нудистском, знамо — пляже), финансовых возможностей, безграничных в пределах разумного — не одобряют опять же скандинавский дамский обычай не брить подмышки! Пардон, не эпилировать аксели. Вероятнее всего, дабы подмышки ощущались поприроднее. «Идешь голой, так иди!» (так говорил Колюнь).

А вот мне, честно если, нудистский пляж приглянулся. В эллинском воздухе вился крутой норвежско-варяжско-викингский мат и визг (шит да доннерветтер) — когда нордические девушки,

тетки и бругильды макали с приседаниями себя в ноябрьские волны из принципа, что не зря заголялись на ветру, а полезно раскрепощенному телу. В негустом обществе «естественных человек»-мужчин было мало, кроме квадриги ньюрашенз да меня (об авторе, застегнутом на все пуговицы строгого сюртука, вдохновенном авторе, об авторе — нет, умолчим, пусть уйдет в тень!) самцов не было, а купаться и подавно — дураков нет.

Скандинавские же девушки морозоустойчивы, особенно за свои сбережения — сольвейги: «Ты пришла ко мне на лыжах!» — но покрыты крупной, только что ощипанной и шипящей боевой гусиной кожей гусынь (вот к чему это я, помните, «как с гуся вода...»).

Мой Телемак («Троянская война — анжамбеман — окончена...», И. А. Бродский), тем временем изрядно повзрослел — на момент отцовского возвращения законно сыну двадцатник с гаком. Сидит, значит, достает Навсикаю, комплексы ковыряет. И как описано мной в предыдущем этюде — на остров прибывает Телегон (если кто подзабыл — мамзер от волшебницы Цирцеи, тоже мальчик продвинутый) и тоже со своими эдиповыми прибабахами. Представляю, как воспитывала Телегончика его волшебная мама. На живом примере извращения в особо опасной форме — превращения буквально каждого чего-либо стоящего мужика в

свинью (ела ли Кирка свинину? — см. «Общество чистых тарелок»).

Сам я, чаще количественно, в молодости, но и в зрелые годы тоже — и качественно, — сам я регулярно бывал обращен в свинью. О чем вспоминаю со стыдливym удовольствием.

Девушке, понятно, с опытом девушке — очень легко превратить меня в свинью. Девушки к этому креативному, но деэволюционному акту предрасположены как собственной конституцией, так и строем психики, генетической памятьливостью (см. тещ, которые тоже, м. п., были девушками), воспитанием, средой и влиянием на них луны и безденежья. Впрочем, это не принципиально (все-таки Кирка поросятину ела!).

Положа руку, я даже и не упомяну, когда мне при достаточно плотном и регулярном графике взаимодействий с избранницей удавалось избежать похрюкивания.

Представляете: одинокая женщина, сын растет, в доме полно свиней и кандидатов (остров Цирцеи — Эя — был популярен; туристы валом шли). Европейские и евроазиатские народы живо сохранили светлую память об этом золотом веке туризма в пословицах и поговорках. (Домашнее задание: замените в каждой припомнившейся вам метацирцеанской поговорке, прибаутке и присказке слово «свинья» на слово «муж», «мужик», «мужчина» — по вашему выбору. Напри-

мер: «доброй свинье — все впрок», «русише швайне», «как свинью ни корми...», «посади свинью за стол...», «нам не страшен серый волк...» и т. д., и т. п.)

Женщины тоже сохранили память о золотом веке в своем специальном суфражистском лексиконе. Культ Цирцеи очень популярен, закрытые курсы читаются волонтерками во всех феминистских институциях (см. «Ла иша»). Проблема с движением розовых, но верю — скоро наука выйдет на новые рубежи трансплантации и вопрос пересадки пяточков на рыла будет решен полностью!

Кстати, о новых русских. Когда Телегону наскучило домашнее образование, а его глубокоуважаемая мать-одиночка не могла уже ничем удивить пытливого и закаленного полукровка (полуахейца-получудовище), Телегон поехал на родину отца. Жить-то надо было, поэтому юноша, неприспособленный к жизни, по пути к месту прибытия продолжал потихоньку предаваться хорошо ему знакомым по дому занятиям: грабил, пиратствовал. При попытке изъять скот у всяких там скобарей (в данном случае это были стада Одиссеевых подданных) и произошел криминальный эксцесс, закончившийся известно как. Козопасы известили свою крышу, Улисс поехал на разборку, Телегон неконвенционально угрожал неопознанного папу с помощью неконвенци-

онального же оборудования — копьем с наконечником не как у людей, а из шипа то ли ската, то ли еще какого гада. Пока разобрались, пока базар, то да се — нет человека, героя, любимца богов (кстати, куда смотрела А. Паллада и другие правоохранительные органы божественного правопорядка?).

Но дело сделано — мертвого отца двух сыновей не воскресить!

Поэтому попрошу посмотреть направо. Мы приплыли — там справа целые колонны с ордерами. Коринф — оттуда мы отправляемся, наконец-то посуху, минуя Микены, в г. Нафплион, аргосского княжества. О котором, городе Нафплионе, замечательный писатель (вот уж кого бы, вне всякого сомнения, заинтересовали темы наших этюдов и кому было что сказать — см. «Тропик Рака», «Тропик Козерога» и др. работы покойного, к сожалению, литератора и лукавца) Г. Миллер высказался так: «Это нафплионцы думают, что Нафплион это полу-Венеция — на самом деле, это полу-Румыния».

Мы с Генри Миллером, пожалуй, пойдем до конца, нам не занимать упорства в деле разоблачения половых нравов, мы это, когда без ничего, — безгранично любим. Возвращаемся к мифу, вперед, т. е. назад.

Мало того, что над свежим трупом родителя состоялось первое знакомство полубратьев. Обрет-

ших друг друга! Нет, Одиссеево семя не остановилось в росте на достигнутом: они пошли дальше. Мальчики берут инцестуальную инициативу в свои руки: пакуют трупешник отца, на правах мужчин и наследников собирают наиболее ценное в домедворце и островном царстве, хватают зареванную, но по-коровьи спокойную Пенелопу — и айда на остров Эя!!! Воссоединять две вполне симметричные, но, как бы сейчас сказали, — неполные семьи!

Две вдовы, двое сирот и дорогой покойничек посередине. Казалось бы — хеппи-энд, чего уж лучше — жить, пировать, добра наживать. Но комплексы берут свое. Одиссея дружно хоронят в эйской земле эйского народа.

Дальше, девочки, закройте глаза: мальчик Телемак женится... правильно, на веселой волшебнице Кирке. Которая сама говорит, что ей лет двести, хотя все знают, что она скрывает свой подлинный возраст, ибо живет вечно (наделена т. н. божественным бессмертием). Отцеубийца же, Телегон, тоже не хочет ходить холостяком и... правильно, женится на подходящей вдовушке — верной Пенелопе.

За что все получают, согласно документу — уважаемому эллинскому мифу, — академическое бессмертие! Чтоб — все в дом. Чтоб все для дома, все для семьи. Представим себе их совместные чаепития на веранде. Вечные. И бюст Улисса. Нам с Генри Миллером непременно бы понравилось...

Нет! Не права Майя Л. Каганская! Зигмунд Фрейд не изобретал комплексы, не прививал их созревшему, подготовленному и готовому на все человечеству.

Я думаю, дело было так: доктор Ф. был, в отличие от современных, замученных строгой мед. специализацией докторов, человеком начитанным. Он вычитал наиболее увлекательные (т. е. наиболее похабные) сюжеты и решил, что... («Приближаемся к г. Нафплион! Пристегните ремни. Экипаж прощается с пассажирами») ...мир — театр, люди — актеры. А не поставить ли на труппе эти криминальные, горячительные, полицейские пьесы в народном исполнении европейского иудео-христианского сознания, со ссылкой на гештальт? А что? Многим нравится! Ей-богу! Когда мне наконец-то будет не о чем писать, напишу что-нибудь на манер «Заметок о половой морали». И назову — «Танго свиней».

Итак, с лордом Байроном — вроде все, Итака не аутентична, впереди — Нафплион. Это если смотреть с Олимпа.

5

Над городом Нафплион, он же Наполи (но не тот Наполи, который Неаполь, Наблус, Новгород и прочие нью-тауны, а который город именно Наф-

плион, и жители его не неаполитанцы, а соответственно нафплионцы) стоит крепость Паламиди (Паламидиум).

Нет! Все, как всегда, наврал — под Паламиди лежит Нафплион!

Цитадель невообразима. Если на среднего человека или крупного пингвина, убедив его, что он утес, нахлобучить по плечи коробку из-под телевизора, а на крылья обуть еще несколько коробок помельче, скажем, от торта, а потом чучело увеличить в масштабе 1:400 — попытаемся представить себе это фэнтези...

Крепость полностью блокирует Аргосскую бухту, высадив в центр лужи солидный форт.

Еще два форта с рavelинами венчают мелкий — метров на 300 — сопредельный утесик, к подошвам которого жметя дворовый городишко и лакает заливчик.

Эти наземные дочерние форты — сами по себе изрядные крепостцы высотой с наш Бофор, и связаны они с маточной цитаделью крытой галереей и подземными, вернее, внутрискальными, рассчитанными на ядерный удар коридорами. И собственный, ясное дело, водопровод.

Зернохранилища прокормили бы Гаргантюа.

Шесть или семь автономных укреппозиций — уже вне периметра — для кулеврин (которые кулеврины тянут на от полутора до двух тонн) и простенько пушек крепостного калибра (более двух тонн).

Рондели как с позавчера, больверк как новенький.

Паламиди построила Великая Венеция. Чтоб был.

Великая Венеция вообще много чего построила в нашем Серединном бассейне, хорошо и передово построила. Венеция была злое, маленькое, очень современное по тем временам, богатенькое и довольно продвинутое (высокие, как ни верти, технологии) государство с ба-альшой внешней политикой и громадными аппетитами, емкостью с обеденные аппетиты, скажем, Великобритании...

Итак, крепость была построена, причем в три года (с 1711 по 1713). За три года не ударно, а именно рекордно был возведен монстр невообразимой мощи и редкой красоты форм.

Спросите меня — можно ли сегодня, через 300 лет, выявить подобное предприятие за такой срок? С дорогами, коммуникациями, боекомплектом, гарнизонными службами, цейхгаузами, системой наземного оповещения, голубиной почтой и прочей дорогостоящей бодягой за какие-то три года?! Отвечу: а хрен его знает.

Стоила цитадель как, на наши деньги, средний космодром, и была столь же совершенна твердыня. Сегодня вход для туристов 1000 драхм в будни и бесплатно по красным дням календаря.

Представляю себе это строительство! В доэкскаваторный век! А что — все как у людей. Рабы

с территорий, подряды, воровство кабланов. Но представляю себе этот провинциальный — с точки зрения отлучки от столичного великолепия венецианских интриг, взлета карьер и тому подобного, — представляю себе этот гарнизон! Кондотьеры, по неграмотности не читающие Макиавелли, малорепертуарные армейские кантины, домашние концерты-парти у сеньоры комендаторе, который комендаторе и капитан, и граф, и барон Священной Римской империи и вообще полуиспанец, четверть грек и четверть тедеско, то есть шваб, но почему-то кавалер Золотого руна!

За рыбой, поддачей и бабами спускались в самоволку в Наполи. За более серьезными экспроприациями гоняли к армяшкам и жидам в Аргос, за 10 километров по высококачественной дороге с препятствиями.

Население затуркано до невообразимости. Но, во-первых, население затуркано до невообразимости, потому что побережье Миртосского моря (филиал Эгейского) как-то неспокойно с точки зрения нацбезопасности — какая бы нация (в новое время: сирийцы, лангобарды, сицилианцы, вандалы, остготы, болгары, арнауты, куцовалахи и башибузуки, кроме греков, вот уж кого недоставало, разумеется) там ни прописывалась — вырежут, здрасте не сказав; а во-вторых, потому, что Пелопоннес он и есть это самое, Пелопоннес. Хотя в начале 18-го

века, если на то пошло, везде в нашем регионе население было затуркано до невообразимости.

О цитадель Паламиди! О чудо! последнее слово о! Вершина военно-инженерной европейской высоколести! игрушка бога войны! о ограненный алмаз цивилизации! Это ж надо ж: теплый бронированный сортир на 8 очков! церковь с капеллой, великолепием, блааепием и бомбоубежищем! Крепостная артиллерия с дубовыми листьями и виноградными бароккальными прибабасами по чугуну! Сеньоре комендаторе с сучьей лягавой родословной! Фортификация — одно слово, фортификация!

Гордая твердыня, циклопическая цитадель, крепчайшая крепь, казенные казематы, ядерные, нет, ядерные ядра, точная картечная картечь!

Крепость была построена великой венецианской торговой республикой за три года, склеротикам напоминаю — с 1711 по 1713 год! В 1714 году она была взята. Турками. За неделю.

Из которой недели осада непосредственно велась неполных три дня. Взял крепость даже не паша, не бей-адмирал, а такой мелкий ага, что его аги имя соскользнуло за поля истории даже Оттомании. Блистательная, одно слово, Порта! Могут же чурки, если хотят.

На размышления понятно, наводит. Но (см. ниже) мы еще спустимся с возвышения Паламиди непосредственно к размышлению.

Ко мне тут поднялась в мансарду делегация эллинов. Обижают, говорят, нашу свободолюбивую нацию, обидные, говорят, крылатые слова и выражения злоупотребляете по отношению. Нехорошо, говорят, особенно от многострадального еврея, прости Господи.

Хочу обелиться. Греки — чудесный народ. И древние были чудесные, и средние — чудесные, и новые, по всей видимости. Чудесный народ, гостеприимный (говорят, что скотты, то есть шотландцы, тоже замечательный, гостеприимный кельтский народ).

Греки — чудесный народ! Несмотря на древность, к которой они, греки, исторически непричастны — прекраснодушный, непосредственный, вполне детский, инфантильный, Онассис-Теодоракис-Грек Зорба-через реку.

Евреи, вернее, израильтяне, — тоже чудесный, гостеприимный нацнарод. Несмотря на древность, к которой мы, сходственно, не имеем, похоже, — если наблюдать наше общежитие — никакого исторического, в смысле преемственности, в смысле былой славы и уроков этой боевой славы — никакошенького отношения...

О, мне ли сводить давние, с точки зрения наших с Элладой исторических фамилий, счеты: по оси Афины-Иерусалим — о, мне ли!

О, мне ли пенять за Антиоха, а в ответ получать в глаз за Ф. Александрийского, отвечать за Филона?

О, мне ли!

О, мне ли Пантеону лыко в строку совать — противопоставляя ему нашего Невыразимого Б-га, ибо холост Б-г? и опять просить стыкнуть Демокрита и Иеремию?! О, мне ли!

Нет, не мне.

Я простенько хочу напомнить, что с моей скромной аидише-недемократической точки зрения, любовью народ — быдло.

И в первую очередь, не пропуская вперед москалей, зулусов, бурятов, элинов и просвещенный немецкий народ священной германской нации, собственный народ — быдло. Каждый собственный народ. Мой собственный народ. Ну, так уж и быть, добавлю для исключительности — богоизбранное быдло.

И весь мой лично, персонально мой патриотизм состоит не в подсчете экснострисов в списке олимпийской сборной по го, протяженности еврейских носов в физике твердого тела и проценту аидов в Совете безопасности Российской Федерации, а в том пустом, неловком, дарующем бессонницу обстоятельстве, что вот именно неаппетитность собственного моего народа меня и удручает. А ненецкого народа — нет. Включая призовое гостеприимство, широту и долготу нацдуши, поголовный интеллектуализм и мировопризную жестоковыйность.

И именно состояние современной, увиденной мной Эллады — государства, нации, наро-

да, — причем регионального, соседского демгосударства, социально близкой нации любителей баранины под сиртаки, народа ментально передразнивающего, включая плавное планирование в монреальскую диаспору, родственного народа страны Таханы Мерказит, греческое состояние небольшого, мирного, сытого и веселого народца с двоюродной историей — вот от чего меня коржит, гвиротай ве работай. А отнюдь не от мирных греков, дай им Бог здоровья и процветания и мени хеппи ретернс.

Я боюсь, нет, я уверен, что новый Ближний Восток в пересовской, все еще актуальной поцелуйной модели, что «интеграция в регион», что шалом, процветание, дружный туризм между народами и прочая лабуда приведут нас, всю нашу малоазиатчину, к такой скамейке для невест, что Греция Европой покажется.

Знаете, как танцуют в огромном дансинге (это чтоб не говорить мое любимое слово «дискотека» — греческое, между прочим, слово), как танцуют на танцах в «Аполлоне»? Сейчас я перескажу вам это дионисийство, сейчас.

В зале «Аполлона» не вальсируют, а дуют теплое пиво, узо и колу с «Метаксой», вправду сказать, не в русскоговорящих количествах. Главное — как греки выражаются, скена. Скена изображает собой на подсвеченной клеенке замок с барашками (суфлаки) и норманнскими почему-то

рыцарями активно нордического типа и финского румянца под забралом. Сразу оговорюсь, вдолбите себе в голову: сиртаки — это бузуки, а бузуки — это сиртаки. Вдоль задника выстраиваются в шеренгу знаменитые звезды стиля бузуки. Эта плеяда, чтоб переорать зал, напрягается под «фанеру». Фонограмма железная, без выпендрежа на изыски.

Далее к сцене пробивается компания греческих джентльменов с дамами наперевес, но к рампе поднимаются строго и только парни.

Певцы и певицы бузуки ослепительно приветствуют наших молодцов подъемом усов вверх и гребком незанятой микрофоном рукой — в смысле исполати. После чего капелла, чтобы не затоптали, опасливо отступает орать к заднику.

Мужская молодежь в брючных двойках зря по сцене не болтается, а наоборот: как падут все на одно колено, выбросив с гаком правую руку к двум солистам-петушкам в центре дружеского кружка!

Танец сам описать не берусь. Слабо. Одно скажу, балет начинается как молдовеняска и заканчивается как фрейлехс с жохом. А длится, пока токующей паре не надоест, после чего на круг выдвигается другая бойцовская парочка и подпрыгивает часа полтора.

А что же девушки, наши прелестницы? Что же наши харитоподобные гречанки? О, у них тоже

есть ролевая функция! Вот наши терпсихоры. Они на выделенные (эвоз, чего жидиться) их кавалерами средства скупают нарасхват у служащих с подносами искусственные цветы и время от времени плавно швыряют их из партера в происходящую на сцене хореографию. И счастливо хохочут наши гамадриады, когда попадают. Особый шик для самца — уловить бутон в рот. Конец эпизода.

Меня спросят: а что, физзарядка в сигноне макарена — она что, лучше? А рокешник с потной ламбадой что, прогрессивнее?

Отвечаю — да. Поясняю развернутым ответом: шарахает меня от этой оргиастики не фольклор, а я бы сказал, национальная самозабвенность. Не говоря об искусственных лепестках из нейлона и строгом функциональном разделении по полам.

Ну попробуйте сообщить мне в лицо, что внутри меня поднимает голову мракобес и ксенофоб. Я отрину, с вашего разрешения, этот упрек.

Конечно, этот мой этнографический пассаж дразнителен и нелицеприятен. Кому что нравится, особенно про бузуки. Но признаю, пассаж недостаточно патриотически левантичен, вот именно.

Потому что весь цивилизационный престиж новых греков, извините, в обслуживании, в кепочках кока-колы, в посредственном гостиничном госте-

приимстве, впрочем, жуликоватом, впрочем, как и везде в Леванте. А амбициозная самобытность — в небольшом локальном новогреческом языке, вышепроцитированном бузуки и в скромной ортодоксии, несоизмеримо более скромной, нежели московского патриаршего бутилирования. Навроде главной синагоги Бруклина рядом с синагогой Рош-Пины. И посильное участие в блоке НАТО на десерт.

О, прости меня, земля Эллады. Вероятно, и это еще по одному из самых благоприятных футур-сценариев — мы скоро дотанцуемся до чего-то подобного. Чтоб начиналось как молдовеняска, а кончалось как фрейлехс. В целях сохранения самобытности — вприсядку.

Израиль — очень красивая страна; я не знаю, особенно на закате, некрасивых стран.

Израильский народ добродушен; чеченский и палестинский, если приглядеться, — тоже. И готтентотский.

Израильтяне гостеприимны; особенно исторически.

Мой народ — он свободолюбив; не смотри в историю Швейцарии. ЦАХАЛ бесстрашен и беззаветен; сравни восстание сипаев. Еврейки наши красивы; сравни польских панночек.

Ну что еще — климат у нас теплый, фейхоа недорогое. Страна как страна.

Греция. Ливан. Турция. Невеликая Порта.

Нет-нет, что вы, зарапортовался.

Израиль — страна беспрецедентного интеллектуализма (Платон, Аристотель), военного гения (Александр), научного знания (Пифагор, Птолемей) и т.д.!

Израиль — еврейская страна, где каждый еврей реализует себя полностью в мировом масштабе (ну вас в баню, действительно: Эйнштейн, Шагал, Киссинджер, Алла Пугачева) и т.п.

Израиль — твердыня демократии, цитадель современной технологии, оплот гуманизма и зайчиков в Баниасе, которые прямые родственники слонов.

Мазерленд и фатерлянд.

Арцейну, моledет, Эрец-Исраэль шлема! Билады!

Коренная израильская интеллектуальная элита — красивая и молодая — знает что делает, когда всерьез предполагает демифологизировать (сейчас будет много многосложных слов, но читай — «десакрализировать» — в нашем всеизраильском общественном сознании предмет спора об Иерусалиме, не говоря о Хевроне; демилитаризировать (опацифичить) воспитание; объективизировать (дезавуировать) заблуждения и определить как колонизаторскую, если не фашистскую, новейшую нашу госисторию — в общем, чтоб все было как у людей. С поправкой лишь: на иврите чтоб, чтоб в Тель-Авиве

чтоб, чтоб вприкуску с фалафелем чтоб — и если уж кому-то зудится, то танцуют все. Кибуцную хору.

А в конце концов, всегда можно положиться (и возложить вину) на нацсмышленость, американцев, Бога, низкую мотивацию, высокие технологии.

И сел я лицом к Эль-Кудсу на крылечко крепости Паламиди. И пустил я пейсы по ветру, и поцеловал я свою правую руку, которая вот-вот отсохнет, и запел я балладу:

Мы построить крепость воздвигнем план  
от секретности план сожжен  
равелины чтоб их не брал таран  
бастионов граненых не оборол  
в арсеналах дробь и добра дрова  
в троекратных стенах чтобы ура  
и у неба в носу ковырял донжон.

Мы воздвигнем корону сложив утес  
нет  
на плешь циклопическому хребту  
нахлобучим зубцы и бойницами вниз  
чтобы башен груз чтоб фронта вес  
и чтоб форт как каждый гранитный пес  
язык дороги держал во рту

Мы создать твердыню прицелим цель  
цитадель и только  
один в один  
вознесем эту каменную цитадель

## ВЕЛИКОЕ [НЕ]РУССКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

создадим тебе, деточка, цитадель  
а потом последнюю цитадель  
туркам ее сдадим

Моя мертвая детка не спи не спи  
мы сойдем в казематы на тыщу мест  
где  
хотя он навьлет с утра убит  
турка сидит на моей цепи  
железо плачет и ест.

### 6

Я никогда не путешествую зря. Правда, в честь меня не назвали животное, как в честь Пржевальского или Эйзенштейна, город, как в честь Лондона, или площадь. Наверное, потому, что я жив. Хотя, если вдуматься, моим именем могли б что-нибудь уже и назвать, а если уже все занято — переименовать.

Я, еще сидючи в мансарде, присмотрел себе море по соседству. Пусть было б — море Генделева. Ну ладно, черт с вами: Мертвое море им. М. С. Генделева. Или — Хермон. Что ему зря торчать, не будучи моего имени?

В честь Эгея, только из-за того, что он утопился, — нате: Эгейское море. В честь Эдипа, только за то, что — комплекс жилой, для некоторых — массив.

Я тут произвел некоторые разыскания и выяснил, что только Голдой Меир и мною (леди ферст) ничего не названо.

Казалось бы — наиболее подходящая эпоха, наиболее симпатичная ойкумена, отличный этос, гостеприимный этнос — гуляй не хочу.

И на тебе! Ни пик, ни кратер, ни дачный поселок, ни какую-либо неизлечимую экзотическую хворь. Может, на худой конец — могилу назовут моим именем?

Тоже ведь красиво: могила Давида (не аутентична), могила Пустынника, могила Генделева. Можно даже: музей-усадебка, это если не получится — дом-могила, я согласен.

Правда, вот Александр Македонский — Великий он, Искандер он, Двурогий он и т. д. Казалось бы — слава. Ну хорошо: не слава — известность. В честь Александра Филиппыча названы город Александрия, Македония (которая бывшая республика под мышкой бывшей Югославии), Македония (которая в Греции и вполне воспаленно требует — если югославскую подмышку не воссоединить в Великую Македонию шлема (а че? отличный проект вплоть до Ганга. И никаких проблем с Саудом и аятоллами. Включая Бней-Брак, Мубарака и Самарканд), то хотя бы назвать Македонию по-человечески, для Греции необидно.

Так вот: так себе скучный город, 2 области; Александр I Палыч, Второй Николаич, Третий Александрыч; Александр Ульянов, моя бывшая Аглая; невзрачный минерал александрит и — па-

роход «Александр Великий», с какого я сошел на твердую сушу Пелопоннеса, с мыслью никогда больше.

Все.

Русскоязычному читателю Александр Македонский, как великий человек, знаком только в контексте не повода стулья ломать сик транзит.

А сколько ошибок, сколько исторических фашл с этими переименованиями!

Русские, голову даю на отсек, уверены, что Черное море названо в честь Черномырдина, Эльсинор — это охотничий домик Ельцина, а Гусь-Хрустальный в честь репутации Гусинского.

Спроси израильского отличника — получишь развернутый ответ: море Ионическое — в честь Ионы, поправка Джексона — в честь Майкла, мединат Исраэль — в честь «Исраэль баалия».

А русскоговорящие из наиболее активных совсем омегаломанили: культура — это «аколь Тора» (есть такая теория), колбаса — это «аколь бесе-дер» (особенно, не правда ль, лакомо), а Владимир Красно Солнышко в память о Зезве Жаботинском. Но что с нас взять, патриотов.

Я о том, как все сик буквально на глазах транзит. Мы, великие народы (я имею в виду евреев, греков, монголов, племя Одноглазого Большого Орла, украинцев и многомиллионный палестинский народ ихней нации), очень любим вспоминать, что, как и когда нам и сколько

раз принадлежало, и показывать богатым туристам.

Короче — купил я бюстик Александра Македонского. Из-под пыли и подлинный, вне всякого сомнения. Сравнил по памяти: он! Как влитой. Запросили — пустяки, гроши, соизмеримо с его международной бесценностью для всего человечества.

По приезде в мансарду я, понятное дело, хотел этот бюст, эту уникальную раскопку — подарить в дар от меня нашему еврейскому народу, в лице его государства Израиль, в лице его Музея Израиля, а на вырученные деньги пожить как человек бе хуль, пожертвовать на СПИД и отдать часть долгов. Может быть, подключить телефон. Хорошие были у меня планы.

Александр Македонский (вы не представляете себе мою радость — что это был именно он, а не Одиссей или Артемида, которых я хуже знаю в лицо) оказался в отличном состоянии, почти что не отбит. Великий ваятель древности изготовил его из неизвестного металла, с легкостью пережившего непростые в судьбе греческой земли тысячелетия: все ее копали. Изумительный бюст, правда, без рук и фрагментов ног, но весь в патине. Может быть, это даже был не бюст, а композиция «Юный Александр, умиряющий коня, чтобы тот отвез его к гетерам», но лошадь, девки и наблюдающий эту сцену с доброй, всепонимающей

и немного лукавой улыбкой учитель Великого Александра, Великий Аристотель, вовремя откололись в свое время и лежат неоткопанные продавцом в древней земле Эллады, хранящей много тайн.

Грек не хотел мне продавать Македонского, боялся, что я вывезу нац. достояние незаконно из его многострадальной страны, увезу в Неметчину или Американщину.

Когда, в процессе торга, он догадался по акценту, что не в Американщину, а по сумме, которую я ему предлагал в ответ, и по загару понял, что и не в Неметчину, — честный грек обиделся, горько улыбнулся и сбавил требуемую за сокровище культуры сумму в двести восемьдесят два раза, и пообещал подкупом ликвидировать трудности с таможеней: у него там работает брат, который как близнец, и его, брата, легко будет мне опознать, если встречу, по усам. И еще скидка десять процентов от доли таможенного брата.

Потом продавец, это когда я уже в третий раз ушел, потом почтенный антиквар вызвался — если уж я такой капризный и жадюга — доложить к бюсту Александра подлинного Лаокоона в пластическом выполнении, но я прикинул, что с контрабандой не вмещусь в самолет, не говоря о мансарде. Лаокоона, вправду говоря, было не описать. А если и описать, то никакому «Оцаа ле поаль» не вывезти с моих 127 ступенек вниз. В общем, надо было

братъ, локти кусаю. Лаокоон бы очень украсил мой быт, особенно змеи.

Нет, век воли не видать, — надо было брать!

Я не взял. Но Александр стал мой! Весь. Я положил его в карман и пошел полюбоваться на акваторию Аргосского залива.

Приобретение приятно покалывало при ходьбе, я насвистывал и думал, что когда перед тобой лучезарный залив, а в кармане бренчит бюст великого царя, создавшего прецедентную Империю Добра вплоть до Ганга (и для этого взявшего, не заметив, Иерусалим, не говоря уже о твердыне банка «Хапоалим»), бюст Искандера Двурого в кармане когда, то и зачем человеку, в сущности, деньги? Что деньги — тщета. Только великое нетленно.

Ведь, в конце концов, бюст мог сгореть, как Александрийская библиотека, утонуть, как пароход «Александрос Великос» (см. М. Генделев, «Новая Одиссея» 5-бис), или так и гнить в почве, в ус не дую.

Но он со мной, нас двое: я и Алекс!

«Может, взять себе псевдоним Шлиман?» — думал я. И бюст не будет сидеть сложа руки.

Может, удастся подбить малознакомых платить деньги за посмотреть на реликвию. Может, в благодарность от всего человечества Обладателю Подлинной Головы А. М. один к одному — увеличат гонорар и можно будет приобрести лимонную косовороточку в Машбуре и сладенького для Аглаи (как там она?).

А сколько радости доставлю я себе, когда они все, сволочи, сдохнут от зависти. Когда их изложет, что у меня — есть, а у них — фиг. У меня бьют, а у них...

Мое внимание привлекли довольно активные тинейджеры, явно автохтоны, лезущие в воду залива, хотя им явно нечего было там делать. Обряд ныряния носил у них характер театрального действия и обставлялся торжественными причитаниями.

Как они вульгарны, ожесточилось мое сердце и поморщился ум, отвлеченный от рассуждений: «Зачем человеку, в сущности, деньги?»... Юность Эллады кидалась с мола в бурные, но прохладные воды залива в разнообразной стилистике: от ласточкой и топориком до «в последний раз купаюсь, вах!». И мне исключительно стало жаль мальчонку лет одиннадцати, почему-то приставшего к стае купальщиков. В их ПТУ он выглядел особенно незащитно. Вылезал весь в гусиной коже, бегал по молу, опять нырял... Парни галдели, вяло, напоказ боролись. «Мельчают пластиковые эллины», — родилась у меня мысль. Кажется, такая же ровно мысль родилась у спокойного, хорошо одетого техасца средних техасских, отлично прожитых лет в техасской, как влитой, шляпе над красной техасской ряхой. Мы достойно переглянулись, пожали каждый своими плечами.

«Ну зачем человеку деньги», — вернулся я к сладким заблуждениям.

С мола раздались дикие крики «ой».

«Так и знал! Утоп гречонок», — эпикурейски подумал я и побежал к причалу, отталкивая по пути тегаса, из-за шляпы которого и плохо видно, и никакого сердцебиения от ужасного зрелища, хоть плачь.

Проскользнув ужом к парапету, я склонился над бездной, откуда старшие мокрые ребята, невероятно галдя, выводили мокрого младшего.

— Он нашел!!! — услужливо и как-то сразу стали мне переводить старшие товарищи недоутопленника.

— Что нашел? — тоже почему-то по-английски принялись спрашивать близко от меня — и глядя как-то на меня — молодые односельчане.

— О! Что он нашел!!! Он хорошее нашел.

— Вери вэл?

— Очень, вери антик.

— Неужели очень старое?

— Вери, вери старое!

— Какое счастье!

— Да, маленькому бою, сыну Навраки, привалило счастье. Вери большая удача. Хи из лаки!

— А можно посмотреть? — сказала несколько нервно большая тегасская шляпа. — Что за находка?

— Да, да! Можно, — добро и гостеприимно сказали греки, отвлекаясь на тегаса, — вот

маленький мальчик покажет вам свою главную удачу.

Техасца и мальчугана обступили загорелые спины.

— Я тоже хочу! взглянуть на удачу, — пискнул я, но меня не услышали. Я, конечно, протиснулся, но все равно ничего не было видно из-за шляпы большого техасца.

И я увидел удачу! «Оба-на» — рывкнуло внутри меня, я запаниковал, тем более что из-за давки я не мог проверить на себе содержимое кармана.

Залихорадило.

«Или на дне мирового океана, — быстро думал мозг, брызгая слюнями и пропуская гласные, — на таинственном дне мирового океана, именно в районе Аргосской гавани хранящего столько тайн, тайно находится цивилизация, продублировавшая шедевр “Юный Александр Великий, усмиряющий лошадь с мыслью, что она таки отвезет его к девкам под добрым всепрощающим надзором старого Аристотеля”. И там, в пучине, все еще валяется докомплектная кобыла, старый мудрец и запчасти к великому Александру, либо... А что, собственно, “либо”? Что “либо”? Так оно и есть!!!»

— Я не могу продать вам мою удачу, — тем временем на довольно уверенном английском объяснял техасцу счастливый юный археолог

(техасец, несмотря на ветерок, обмахивался зеленым купюрным веером). — Я не знаю, сколько это стоит в долларах... И папа заругает, если узнает, что я это продал без спроса. Кстати, сэр, вилком сэр, познакомьтесь, вон он — папа. Папа, это — сэр. А это — мой папа, мистер Навраки. Сэр, мой папа, сэр, вам все объяснит, сэр. Олл райт, сэр? На тебе, папа, мою удачу, мою счастливую, меня, мальчика, очень старинную находку...

Ну с глазу на глаз, так с глазу на глаз, вздохнул я, понимая, что приобретение парного произведения старины, не говоря о недостающих фрагментах: гетер, лошади и, какая досада! — старца-философа — откладывается. Учитывая нарастающую интенсивность азартного красного пигмента на челе техасца, хлорофилл зелененьких купюр и спокойное достоинство папы, он же мистер Навраки, которого Навраки я бы легко опознал в аэропорту, когда у меня возникнут таможенные трудности с незаконным провозом моего, нет уж, именно моего Александра Великого, как достояния не предназначенной к вывозу великой античной цивилизации, подлинников Леванта и области.

Увы! Ни моим именем, ни именем Голды Меир, ни именем Навраки никогда не назовут ничего стоящего — слепая судьба безжалостна к великим мира сего, а молва, о, эта молва, а также о,

## ВЕЛИКОЕ [НЕ]РУССКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

эта память народная! И вообще — о, вся эта ваша история!

Мной не назовут Мертвое море, площадь не назовут, музей истории Израиля не назовут!

Не назовут мной также город Александрию, пароход «Александрос Великос», и Ульянова, брата великого Ленина, не назовут.

А вот мой, пусть и непарный, бюст Александра Великого, человека и парохода, — я подарю. В дар.

В дар всему великому народу Израиля.

## КОММЕНТАРИИ

«Переселившись в 70-е годы в Израиль, Генделев очутился в социокультурной ситуации, общей для всего нашего поколения. Тогда это была загробная жизнь — вне языка, без укорененности в еврейской духовной традиции, в израильской среде, — и требовалось ее обживать, «утепляя» своим дыханием новую страну. Всякая молодая культура — а наша израильская русскоязычная культура была именно такой — начинается с поэзии, несущей в себе спасительный заряд упоенного мифотворчества. Генделев превосходно выполнил эту литературно-мифологическую миссию, проистекавшую из внутренних побуждений. Но теперь, с годами, когда к нему пришло признание, а быт стал, наконец, принимать гораздо более комфортабельные формы, он, повинувшись традиции, решил перейти к прозе. И вот то, что в его поэзии было ошеломляющим соединением полярных смыслов, их динамическим взаимопроникновением, в прозе осталось каламбуром как сниженным, земным продолжением все той же попытки согреть и очеловечить этот мир, дружески связав разные его реалии. Его заезд в Россию — минутное возвращение души в прежнее, покинутое ею тело — в тело дет-

ства, магически оживленное пассами смеха, арлекинской свадьбой языков и культур. В этой курьезной встрече таится для него глубокий сотериологический смысл...»

Так писал в послесловии к роману М. Генделева (1950–2009) «Великое русское путешествие» известный израильский филолог и литературовед М. Вайскопф. Действительно, была некая поэтическая логика в том, что одним из первых «русских» израильтян, посетивших Советский Союз по гостевому приглашению, стал виднейший русско-израильский поэт. Логичным было и название романа — эта поездка стала не паломничеством и не возвращением эмигранта в родные пенаты, но именно путешествием «израильского поэта, пишущего на русском языке», как определял себя М. Генделев.

Свое первое «путешествие» М. Генделев совершил еще до того, как дипломатические отношения между СССР и Израилем, разорванные советской стороной в 1967 г., были восстановлены в октябре 1991 г., за считанные месяцы до распада Советского Союза. Позднее такие «путешествия» стали регулярными, а с 1999 г. поэт долгое время жил в Москве.

Первый том романа «Великое русское путешествие» был выпущен в 1993 г. московским издательством «Текст». Трагикомическая, ироническая, полная виртуозной словесной игры книга Генделева, этот памятник ушедшей эпохе, полюбилась читателям и быстро разошлась.

В первой половине 1990-х гг. М. Генделевым было задумано продолжение книги. Хотя эта затея всякий

раз откладывалась в долгий ящик, поэт опубликовал целый ряд отрывков прозы и заметок о путешествиях в новую Россию, Грецию и т. д.

Наиболее завершенные из них вошли в составленный нами второй «том» романа. Название его не только напрашивалось, но и было подсказано заглавием одного из циклов путевых очерков М. Генделева — «Письма нерусского путешественника». Приведенные тексты никогда не публиковались в книжном виде, а многие из них до сих пор оставались разбросаны по практически недоступным читателю страницам израильских русскоязычных газет (назовем, в частности, «Окна» — литературно-публицистическое приложение к «Вестям», в те годы ведущей русскоязычной газете Израиля).

Тексты приводятся по первым публикациям либо авторской машинописи с исправлением опечаток и некоторых неточностей. Для данного издания текст первого тома был заново пересмотрен и исправлен. Пользуясь случаем, хотелось бы принести благодарность Фонду памяти М. Генделева (Иерусалим) и лично исполнительному директору Фонда Е. Львовской-Пастернак за неоценимую помощь в работе над книгой, включая предоставленные материалы.

В заключение заметим, что Генделев мыслил себя прежде всего поэтом и никак не колумнистом, очеркистом или прозаиком. Прозу свою он считал «хлестаковской» и утверждал, что в ней «скорее наличествует удаль, которую многие непросвещенные читатели опрометчиво принимают за стиль. На самом деле эта лихость и бравур изложения — изло-

жения с разбегу — проистекает оттого, что страшно заглянуть в строчку и понять, что же ты накатал».

Иного мнения был такой квалифицированный читатель, как В. Аксенов. «Бойко, весело, артистично, пост- и премодернистично... Читатель после десятка первых страниц как бы обращается в пламя, которое, по выражению автора, “читает всю книгу — разом”», — писал он в послесловии к первому тому романа, добавляя, что проза Генделева «хорошо прошампанена чем-то марочным и даже, временами, как уже было сказано выше, коллекционным».

Хотелось бы верить, что эту высокую оценку разделят и новые читатели «Великого русского путешествия».

С. Ш.

## ТОМ ПЕРВЫЙ ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

С. 7. *Венедикту Ерофееву.* — В. В. Ерофеев (1938–1990) — русский писатель, прозаик, драматург, прославился как автор поэмы в прозе «Москва-Петушки» (первая публ. 1973).

С. 10. *...ксенопаразитологии, этнографии... натуртеологии, прикладной эсхатологии.* — Сочетание

изобретенных автором наименований «научных» дисциплин («паразитология чужеродных организмов», «естественная теология») с реальными терминами: этнография — описание нравов и обычаев; эсхатология — система религиозных представлений о конце света, скончании времен.

### ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

С. 11. *«Да куда ж это ты, Елена?... Твой Э.»* — Намек на российского писателя, поэта и политического деятеля Э. Лимонова (Савенко, р. 1943), с 1974 по начало 1990-х гг. проживавшего в эмиграции в США и Франции. Первый эмигрантский роман Лимонова «Это я, Эдичка» (1979) проникнут тоской по ушедшей от него жене Е. Щаповой (р. 1950).

С. 11. *Я часто думаю... Потешня.* — Здесь и далее вставные двустишия в книге — из задуманного автором, но так и не осуществленного сб. юмористических стихотворений, эпитафий и эпиграмм «Обстановка в пустыне».

С. 12. ...*«Как реорганизовать Рабкрин».* — Имеется в виду статья В. И. Ленина (1870–1924) «Как нам реорганизовать Рабкрин», опублик. в газ. «Правда» 25 января 1923 г.

С. 13. ...*пар экзампль* — например, к примеру (*франц. par exemple*).

С. 13. ...*французик из Годо... поехал в Бордо.* — Отсылка к пьесе С. Беккета (1906–1989) «В ожидании Годо» (1953) и «Горю от ума» (первая русская публ. 1833) А. С. Грибоедова (1795–1829): «Французик из Бордо, надсаживая грудь, / Собрал вокруг себя род

веча / И сказывал, как снаряжался в путь / В Россию, к варварам, со страхом и слезами».

С. 13. ...10 дня месяца ава. — Ав — 11-й месяц еврейского календаря (соответствует июлю — началу августа). К 9-му ава приурочиваются различные трагические события еврейской истории, как то: разрушение Первого и Второго Храма, разрушение Иерусалима римлянами, изгнание евреев из Англии в XIII и из Испании в XVI вв. и т. д. Религиозные евреи в этот день соблюдают строгий пост.

С. 13. ...заря. Афула. — Это обозначение места написания встречается и в «Обстановке в пустыне» (см. выше). Афула — небольшой город в северной части Израиля, у автора — синоним израильского захолустья.

## КНИГА ПЕРВАЯ

С. 14. Если праздные люди... необходимостью. — Слегка искаж. цит. из неоконченного романа Л. Стерна (1713–1768) «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (1768).

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

С. 14. ...«Бегед-Ор». — Известная израильская фирма кожаной одежды; винтажные вещи, произведенные «Бегед-Ор» в 1970-х гг., все еще высоко ценятся у модниц.

С. 14. ...Бухарестского аэропорта. — Прямого авиасообщения между Израилем и СССР в описываемое время не существовало; израильтяне, посещав-

шие Советский Союз, обычно летали транзитом через Бухарест или Вену.

С. 15. ...*маршал Бертъе*. — Л.А.Бертъе (1753–1815), маршал и вице-коннетабль Франции при Наполеоне I, в 1799–1814 гг. начальник наполеоновского генштаба.

С. 15. ...*аба* — отец, папа (*ивр.*).

С. 15. ...*багинетами*. — Багинет — кинжал, как правило, с плоским лезвием, вставлявшийся в дуло ружейного ствола, в XVII–XVIII вв. применялся в качестве штыка (от *франц.* baïonette).

С. 15. ...*сочинитель стихов и поэт*. — Автоцит. из стих. М. Генделева «Затмение луны», вошедшего в кн. «Стихотворения Михаила Генделева» (1984).

С. 16. ...*алеф... бет*. — Первые буквы еврейского алфавита, здесь: во-первых, во-вторых.

С. 16. ...*Лод... Русия*. — Рядом с г. Лод расположен аэропорт им. Д. Бен-Гуриона, главный пассажирский аэропорт Израиля. Русия — Россия (*ивр.*).

С. 16. ...*лакедемонскую*. — От Лакедемон, самоназвания древней Спарты.

С. 17. ...*samadhi*. — В буддизме, индуизме, йоге и т. п. состояние, достигаемое благодаря медитации высшего уровня, особое сосредоточение ума с проникновением в суть воспринимаемых явлений и объектов.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

С. 18. *Но пассаран...* — «Они не пройдут», лозунг республиканских сил в Испании периода гражданской войны 1926–1939 гг. (*исп.* No pasarán).

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

С. 19. ...*Джон Черчилль, первый герцог Мальборо*. — Английский военный и государственный деятель Д. Черчилль (1650–1722), выдающийся полководец.

С. 19. ...*зиккурата*. — Зиккурат — ступенчатое культовое сооружение из поставленных друг на друга учесенных пирамид, типичное для архитектуры древнего Междуречья.

С. 20. ...*пляска святого Витта*. — Так наз. хорея, синдром при болезнях нервной системы, характеризующийся беспорядочными движениями, часто напоминающими танец. Получил свое название по возникшему в Германии в XVI в. поверью, согласно которому можно было излечиться от болезней, танцуя перед статуей Витта (христианского святого-мученика IV в.) в день его именин.

С. 21. ...*овервейт* — перевес, излишек веса (от англ. *overweight*).

С. 21. ...*кус има шелахем, маньяким* — \*\*\* вашей матери, уроды (*ивр.* ругательство).

С. 22. ...«*Мальбрук в поход собрался*». — Французская народная или солдатская песенка, порожденная ложным известием о гибели герцога Мальборо (Мальбрука, как именовали его французы) в 1709 г.

С. 22. ...*огнями святого Эльма*. — Огни св. Эльма — электрические разряды на верхушках корабельных мачт, возникающие во время грозы или при ее приближении, которые у моряков традиционно считались знаком присутствия их покровителя св. Эльма (Элмо) и сулили надежду на спасение.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

С. 24. ...*ве аф эхад* — и никто (*ивр.*).

С. 24. ...*ве эйн асимоним* — и нет асимонов (*ивр.*).

Асимон — жетон особой формы с вырезом, использовавшийся некогда в израильских телефонах-автоматах.

С. 24. ...*кашкавал*. — От *casiosavallo*, итальянский сыр грушевидной формы из коровьего или овечьего молока.

С. 25. ...*буридановских*, — От назв. философского парадокса «буриданова осла», который никак не может выбрать между двумя одинаковыми угощениями.

ГЛАВА ПЯТАЯ

С. 26. ...«*Стихотворения Михаила Генделева*» — второй сб. стихов автора (1984).

С. 27. ...*ин флагранти*. — На месте преступления (от *лат. in flagranti*, букв. «при горящем»).

С. 28. *Шмонаэсре...* — Восемнадцать (*ивр.*).

С. 28. *И Самсон, и лев...* — Ветхозаветный богатырь и судья Самсон (*ивр.* Шимшон) разорвал руками молодого льва, который хотел на него напасть (Суд. 14:5–6).

КНИГА ВТОРАЯ

ГЛАВА ШЕСТАЯ

С. 31. ...*Манас Великодушный*. — «Манас Великодушный» — повесть С. И. Липкина (1911–2003) по

мотивам киргизского эпоса «Манас» о богатыре Манасе, объединившем киргизов.

С. 31. *Солженицына... жить... не по лжи.* — Намек на публицистическое эссе «Жить не по лжи» (1974) русского писателя А. И. Солженицына (1918–2008), лауреата Нобелевской премии по литературе (1970).

С. 33. *«Как шли мы по трапу на борт...»* — Цит. из песни колымских заключенных «Я помню тот Ванинский порт...», возникшей в 1940-х гг. Автор неизвестен.

С. 33. *Хамсины.* — Хамсин — ветер южных направлений на северо-востоке Африки и в странах Ближнего Востока; это арабское название (букв. «пятьдесят») связано с тем, что хамсин, как считается, дует около 50 дней в году. В Израиле часто вызывает безветренную, изнуряюще жаркую погоду. В художественной литературе хамсин — устойчивый символ тягот существования, экзистенциальной драмы.

С. 33. *«Ни страны, ни погоста...»* — Цит. из стих. И. А. Бродского (1940–1996) «Стансы» (1962).

С. 33. *...мамзер* — незаконнорожденный (*ивр.*).

С. 33. *...в бригаде Валленберга.* — Намек на шведского дипломата Р. Валленберга (1912–1947?), спасшего жизни тысяч евреев в период Катастрофы; в 1945 г. Валленберг был арестован в Будапеште советской контрразведкой и переправлен в СССР, где умер в заключении.

С. 33. *...Андрюха Резницкий.* — А. Резницкий (1942–2009) — художник, книжный график, издатель; с 1980 г. жил в Иерусалиме.

С. 35. ...«джуким ба-рош» — букв. «тараканы в голове» (ивр.), в переносном смысле человек сумасбродный.

С. 37. ...«хара» — дерьмо (ивр.).

С. 38. ...*шма, Исразль*. — «Внемли, Израиль» (ивр.). Наиболее важная молитва утренней и вечерней литургии в иудаизме, провозглашающая любовь к единственному Богу и верность божественным заповедям.

С. 38. ...*шука Бецалель*. — Шук Бецалель — рынок Бецалель (ивр.), дешевый базар в Тель-Авиве.

#### ГЛАВА СЕДЬМАЯ

С. 39. «Сладко пахнет... белый керосин». — Цит. из стих. О. Э. Мандельштама (1891–1938) «Мы с тобой на кухне посидим...» (1931).

С. 39. ...*Майе Каганской*. — М. Л. Каганская (1938–2011) — израильская эссеистка, критик, литературовед; уроженка Киева, с 1976 г. жила в Израиле, где стала одним из наиболее заметных русскоязычных авторов страны и лауреатом ряда литературных премий; широко переводилась на иврит.

С. 40. ...*Барух Авни*. — Ивритский вариант имени и фамилии Бориса Камянова (р. 1945), израильского русскоязычного поэта, который после приезда в Израиль в 1976 г. обратился к религии.

С. 40. ...*Столп Утверждения Истины*. — Пародируется название книги русского религиозного философа и богослова П. А. Флоренского (1882–1937) «Столп и утверждение истины» (1914).

С. 41. ...«дов» — медведь (ивр.).

С. 41. ...*Танаха*. — Танах — ивр. акроним названий трех разделов еврейского канона — Тора, *Невиим* (Пророки), *Ктувим* (Писания).

С. 42. ...*миспар теудат зеут... шалаш*. — Номер удостоверения личности один-семь-три-один-два-девять-три (ивр.).

С. 42. ...*шеш... шалаш* — шесть, три (ивр.).

С. 42. ...*кацин рефуа миспар иши* — военный врач (букв. «офицер медицинской службы»), личный номер (ивр.).

С. 42. ...*михаэль г-н-д-л-в* — Михаил Генделев (ивр.). В письменном иврите отсутствуют многие гласные, нет их и в написанной на иврите фамилии автора.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

С. 43. ...*Пара, мой друг...* — Пара — корова (ивр.). «Пора, мой друг» — цит. из стих. А. С. Пушкина (1799–1837) «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...» (1834).

С. 43. ...*Рейнгольд Морицевич Глиэр...* — Русский и советский композитор (1874–1956); гимн Ленинграду/ Петербургу заимствован из его балета «Медный всадник» (1949).

С. 43. ...*Лев*. — Л. М. Щеглов (р. 1946), известный петербургский врач-сексолог, психотерапевт, близкий друг автора.

С. 45. ...*куруры*. — Курур — в XIX в. крупная персидская денежная единица, в переносном смысле военная контрибуция или трофей.

КНИГА ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

С. 46. *Я к вам вернусь...* — Здесь и далее в этой главе цит. из стих. «Элегия» (откуда взято и название 3-й кн.), вошедшего в кн. «Стихотворения Михаила Генделева» (1984).

С. 47. ...*Неве-Якова*. — Точнее, Неве-Яков, «спальный» район в северо-восточной части Иерусалима, заложенный в 1972 г. на месте бывшей еврейской деревни. С 1970-х гг. место обитания многих иммигрантов из СССР, позднее стран СНГ.

С. 47. ...*Эрец-Исраэль* — Страна (букв. «земля») Израиля (*ивр.*).

С. 47. ...*бейгале* — бублик (*идиш*).

С. 47. ...*бывшего харьковского негодяй-прозаика*. — Речь идет о писателе и поэте Ю. Г. Милославском (р. 1946), жившем в Израиле с 1973 до начала 1980-х гг.; в наст. время живет в США и определяет себя как православного монархиста.

С. 47. ...*ностальгически-московский беллетрист*. — Писатель и журналист Л. А. Меламид (р. 1944), один из ближайших друзей автора.

С. 48. ...*Анатолия Якобсона*. — А. А. Якобсон (1935–1978) — литературовед, правозащитник, поэт, автор книги об А. Блоке «Конец трагедии» (1973); уехал из Москвы в Израиль в 1973 г., покончил с собой в результате психического заболевания.

С. 48. ...*карабасоподобный... художник*. — Видимо, речь идет об А. Резницком (см. примеч. к гл. 6).

С. 49. ...*Галахи*. — Галаха, *ивр.* Halacha, совокупность еврейских религиозных законов (включая би-

блейские, талмудические и раввинические), обычаев и традиций.

С. 49. ...*матерный Баян* — поэт Б. Камянов (см. примеч. к гл. 7).

С. 49. ...*поэт-переводчик... жёну-миниаютурист-ку*. — Имеется в виду поэт и переводчик израильской поэзии В. И. Глозман (р. 1951) и его жена Ирина (И. Бат-Цви), художница, книжный иллюстратор.

С. 49. ...*филолог из-под Тарту... гоголеведом*. — М. Я. Вайскопф (р. 1948), литературовед, филолог, обучавшийся в Тартуском университете; его докторская диссертация, защищенная в Иерусалимском университете, была посвящена творчеству Н. Гоголя.

С. 49. ...*шулхан* — стол (ивр.).

С. 51. ...*Джаблутского хребта*. — Подобного горного хребта не существует; это авторское собирательное название ближневосточных горных массивов, образованное от «джаблаот» — «горы, возвышенности, холмы» на израильском армейском сленге (в свою очередь, неправильное множественное число от араб. *jabal*, гора).

## Глава одиннадцатая

С. 52. ...*Беллы Ахатовны*. — Т. е. видной поэтессы, писательницы Б. А. Ахмадулиной (1937–2010), лауреата государственных премий СССР и РФ.

С. 53. ...*Коля Беляк*. — Н. В. Беляк (р. 1946), театральный режиссер, с 1988 г. создатель и главный режиссер Санкт-Петербургского Интерьерного театра.

С. 53. ...*кафе «Сайгон»*. — Неофициальное назв. кафе на Невском проспекте при ресторане «Москва»,

легендарного места встреч интеллигенции и творческого андерграунда, просуществовавшего с 1964 по 1989 г.

С. 54. ...*сляб*. — Сляб, сляба (от англ. slab, плита, пластина) — металлическая или каменная прямоугольная заготовка.

С. 54....*Скворцова-Степанова*. — Психиатрическая больница в Петербурге, существующая с XIX в., ныне Городская психиатрическая больница № 3 имени И. И. Скворцова-Степанова.

С. 54. ...*Сабру и Шатилу*. — В сентябре 1982 г. ливанские христиане-фалангисты устроили резню в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила в Западном Бейруте. В различных источниках цифры погибших колеблются от 762 до 3500; по данным израильской следственной комиссии, было обнаружено 460 тел погибших. Роль израильских войск, которые находились в это время в оцеплении и пропустили союзников-фалангистов в лагеря (служившие также террористическими центрами) для зачистки их от боевиков, остается неоднозначной.

С. 55. ...*Димону... Бней-Брак*. — Димона — израильский город в южной пустыне Негев; Бней-Брак — город, примыкающий к Тель-Авиву с востока и населенный главным образом ортодоксальными евреями.

С. 55. ...*Закон о возвращении*. — Израильский закон, принятый в 1950 г. и гарантирующий евреям право на поселение в Израиле и получение израильского гражданства; с 1970 г. распространен на лиц, имеющих еврейских предков либо состоящих в браке с евреями.

С. 56. ...«Балантайн»... «Бифитером» — распространенные марки шотландского виски (Ballantine) и английского джина (Beefeater).

С. 56. ...«Джерузалем Пост». — The Jerusalem Post, израильская ежедневная газета на английском языке, выходящая с 1932 г.

С. 56...*Саша Соколов*. — Псевдоним А. В. Соколова (р. 1943), известного русского писателя-модерниста, с 1975 г. жившего в эмиграции в США и Канаде; с 1990-х гг. жил в России, США, Израиле.

#### ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

С. 57. *Под Невской Дубровкой*. — Речь идет о т. н. «Невском пяточке», плацдарме на восточном берегу Невы в районе пос. Дубровка, захваченном в 1941 г. войсками Ленинградского фронта, месте кровопролитных боев в 1941–1943 гг.

#### ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

С. 60. ...*Рамаллы*. — Рамалла, также Рамаллах (букв. «Божья возвышенность») — арабский город в 13 км к северу от Иерусалима, с 1987 г. один из центров палестинской «интифады», в наст. время административный центр Палестинской автономии.

С. 60. ...*Владимир Петрович Назаров*. — Лингвист, литературовед (р. 1947), с 1973 г. живет в Израиле, где принял имя Зеев Бар-Селла («Волк сын Скалы», буквальный перевод имени и отчества), известен исследованиями проблемы авторства «Тихого Дона».

С. 61. ...гоплитов. — Гоплит — в Древней Греции тяжело вооруженный пехотинец.

С. 62. ...Хроника текущих событий. — Обыгрывается название самиздатовского правозащитного бюллетеня, выходившего в СССР в 1968–1983 гг.

С. 62. Шпрыхсталмейстер — ведущий в цирковом представлении, инспектор манежа (от нем. Sprechstallmeister).

С. 62. ...«леги артис» — по законам искусства (лат. legi artis).

С. 63. Максимова Владимир Емельяновича — т. е. В. Е. Максимова (1930–1995), русского писателя, публициста, с 1974 г. в эмиграции — ред. журн. «Континент».

С. 63. ...«возьмемся за руки, друзья». — Цит. из «Старинной студенческой песни» (1967) Б. Ш. Окуджавы (1924–1997).

С. 63. ...Ариец он-и-евразиец... Сидоров. — Пародируются широко распространившиеся в советском и позднее российском сознании псевдоисторические, «окультурные» и т. п. построения; автор связывает их в одно целое с именами историка-этнолога Л. Н. Гумилева (1912–1972), создателя ряда весьма сомнительных гипотез, и выдающегося филолога, одного из основателей московско-тартуской семиотической школы В. Н. Топорова (1928–2005).

#### ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

С. 65. ...беседер — хорошо, в порядке (ивр.).

С. 65. ...адон — господин (ивр.).

## КОММЕНТАРИИ

С. 65. ...*Элоим гадоль* — ивр. «Господь велик».

С. 67. ...*Большого Каскада*... «Самсон» — фонтаны в Петергофе.

С. 69. ...*Вандейцы* — участники вооруженного мятежа 1793 г. в французской провинции Вандея, в переносном смысле контрреволюционеры.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

С. 69. ...*Бахыт Кенжеев*. — Б. Ш. Кенжеев (р. 1950), казахский русскоязычный поэт, с 1982 г. живет в эмиграции в Канаде.

С. 70. ...*Азадовский*... *Кушнер*. — К. М. Азадовский (р. 1941) — литературовед, германист, русист, в нач. 1980-х гг. политзаключенный; А. С. Кушнер (р. 1936) — плодовитый петербургский поэт-классицист.

С. 71. ...*Витя Кривулин*. — В. Б. Кривулин (1944–2001) — поэт, прозаик, эссеист, крупнейший деятель неофициальной культуры Ленинграда, первый лауреат премии А. Белого (1978); оставил обширное поэтическое наследие.

С. 71. ...*Петя Чейгин*. — П. Н. Чейгин (р. 1948), петербургский поэт.

С. 71. ...*задрипанный альманашек*. — Имеется в виду альманах «Круг» (1985), в котором были впервые опубликованы произведения ряда неофициальных ленинградских литераторов.

С. 71. ...*Юлии Вознесенской*. — Ю. Н. Вознесенская (р. 1940) — русская поэтесса, прозаик, в 1970-х гг. политзаключенная; с 1980 г. живет в Германии.

С. 72. ...*Ширали*. — В. Г. Ширали (р. 1945) — петербургский поэт и прозаик.

С. 72. ...*Ниной Королевой*. — Н. В. Королева (р. 1933) — российская поэтесса, филолог, в 1970-е гг. руководила популярным ЛИТО молодых поэтов.

С. 73. ...*альб* — Альба (*старопрованс. alba*) — форма средневековой куртуазной поэзии, в которой изображается тайное свидание рыцаря с возлюбленной, прерываемое зарей.

С. 73. ...*Л. Герштейн*. — Л. И. Герштейн (р. 1951) — певица, израильская общественная деятельница; в 1975 г. эмигрировала в Израиль. Совместно с мужем, диссидентом, писателем и журналистом Э. Кузнецовым (р. 1939), работала на радиостанции «Свобода» в Мюнхене, затем долгое время занимала пост вице-мэра Иерусалима.

С. 73. ...*Л. Нирмана*. — Л. Е. Нирман (р. 1949) — автор песен на стихи различных поэтов, инженер, преподаватель музыки; с 1984 г. живет во Франции.

С. 73. ...*Кузьминьскому*. — К. К. Кузминский (р. 1940), русский поэт и прозаик, видная фигура ленинградского литературного андерграунда; с 1975 г. живет в эмиграции в США, приобрел известность как составитель монументальной девятитомной «Антологии новейшей русской поэзии у Голубой Лагуны», вышедшей с 1980 г.

С. 73. ...*ин ленинградз андерграунд поэтри* — из ленинградской подпольной поэзии (искаж. *англ.*).

С. 73. ...*иеремиад*. — Иеремиада (от имени библейского пророка Иеремии) — масштабное прозаическое, реже поэтическое литературное произведение в пессимистическом ключе, обличающее пороки общества.

С. 74. ...*Леночке*. — Имеется в виду Е. Генделева-Курилова (девичья фам. Глуховская), жена автора в 1976–1983 гг.; в наст. время живет в Иерусалиме.

С. 75. ...*маранства*. — Здесь: тайного, скрываемого еврейства (иудаизма), по образцу евреев-маранов в Испании.

С. 76. ...*Елена Игнатова*. — Е. А. Игнатова (р. 1947) — русская поэтесса, с нач. 1990-х гг. живет в России и Израиле.

С. 76. ...*ложноклассическая-в-шаль*. — Отсылка к стих. О. Э. Мандельштама «Ахматова» (1914): «Спадая с плеч, окаменела / Ложноклассическая шаль...»

С. 76. ...*Аркаша Драгомощенко*. — А. Т. Драгомощенко (1946–2012), известный прозаик, поэт-верлибрист, переводчик.

С. 77. ...*Сергея Стратановский*. — С. Г. Стратановский (р. 1944) — поэт, филолог, библиограф Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге.

С. 77. ...*Леночка Шварц*. — Е. А. Шварц (1946–2010), виднейшая современная поэтесса, одна из наиболее заметных фигур ленинградского творческого андерграунда 1970–1980-х гг., лауреат многочисленных премий.

С. 77. ...*Анри Волохонский... Баварии*. — А. Г. Волохонский (р. 1936) — выдающийся современный поэт, литературный наставник автора в конце 1970-х гг. Жил в Израиле с 1973 г., работал биохимиком в Тивериаде (Тверии), изучал фауну Тивериадского озера. С 1985 г. живет в Германии.

С. 78. ...*Бурихин*. — И. Н. Бурихин (р. 1943) — русский поэт, художник перформанса, с 1978 г. в эмиграции (Австрия, Германия).

С. 78. ...Алеша Хвостенко. — А. Л. Хвостенко (1940–2004), видный ленинградский поэт-авангардист, художник, автор песен, в 1977 г. эмигрировал во Францию, с середины 1990-х гг. в основном жил в России. В Париже редактор и издатель журнала «Эхо» (1978–1984, совм. с В. Марамзиным).

С. 78. ...Уфлянд. — В. И. Уфлянд (1937–2007), видный петербургский поэт и художник.

С. 78. ...Аронзон. — Л. Л. Аронзон (1939–1970) — трагически погибший ленинградский поэт, один из лидеров ленинградской неподцензурной литературы.

С. 78. ...Лившиц... профессором Лосевым. — Имеется в виду поэт и литературовед Л. В. Лосев (1937–2009), друг и биограф И. А. Бродского; с 1976 г. жил в эмиграции в США, где преподавал русскую литературу. Его настоящая фамилия — Лившиц.

С. 78. ...Охалкин. — О. А. Охалкин (1944–2008), поэт, деятель ленинградской неофициальной культуры.

С. 78. ...Рейн. — Е. Б. Рейн (р. 1935) — поэт «плеяды Бродского», прозаик, сценарист, лауреат Государственной премии России (1996). С начала 1970-х гг. живет в Москве.

С. 78. ...Миша Еремин. — М. Ф. Еремин (р. 1936), известный петербургский поэт так наз. «филологической школы».

С. 78. ...Куприянов. — В. Г. Куприянов (р. 1939) — поэт, переводчик.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

С. 79. ...работай — Господа (ивр.).

## КОММЕНТАРИИ

С. 79. ...*Голду*. — Т. е. израильскую водку «Gold», в 1970–1990-х гг. излюбленный (по причине дешевизны и относительной качественности) напиток иммигрантов из бывшего СССР.

С. 79. ...*ночном супермаркете на Бейт-Агрон*. — Автор путает название иерусалимской улицы Агрон, где в описываемое время располагался известный ночной супермаркет, с офисным зданием «Бейт-Агрон» на той же улице.

## КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

### ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

С. 82. ...*Генерал Мороз, Дубина Народной Войны*. — «Генерал Мороз» — крылатое выражение, возникшее в Англии в 1812 г. во время катастрофического отступления армии Наполеона, страдавшей от зимних холодов, расширительно — представление о том, что иноземных захватчиков в России губит холод. «Дубина народной войны» — цит. из «Войны и мира» Л. Н. Толстого (1828–1910).

С. 83. ...*Мамлеева... дитя-олигофрен*. — Ю. В. Мамлеев (р. 1931) — русский писатель, поэт, оккультист, в 1974–1994 гг. находился в эмиграции (США, Франция); среди персонажей Мамлеева часто фигурируют уродливые и умственно отсталые личности.

С. 84. ...*Е. Звягин*. — Е. А. Звягин (р. 1944), петербургский прозаик, журналист.

С. 87. ...«*Поднявший меч на наш Союз*». — Цит. из «Старинной студенческой песни» (1967) Б. Ш. Окуджавы .

Здесь и далее в книге описаны события ливанской кампании, которая началась в июне 1982 г. как израильская операция «Мир Галилее», направленная на уничтожение баз Организации освобождения Палестины (ООП) в Ливане; ограниченная операция вскоре перешла в затяжную войну на территории южного и горного Ливана.

С. 88. ...амбуланса. — Имеется в виду медицинский транспорт, карета «скорой помощи» (ивр.), от англ. ambulance.

С. 88. ...зих'роно ле В'раха — «Да будет память его благословенна» (ивр.), традиционная формула при упоминании усопших.

С. 88. ...ЦАХАЛа. — ЦАХАЛ — ивр. акроним, Армия обороны Израиля.

С. 88. ...скапулы — лопатки (лат. scapula).

С. 88. ...«Она была ему любезна...» — Часто цитируемая фраза, представляющая собой эпитафию из неназванной «старой пьесы» к одной из глав написанных в 1826–1831 гг. «Путевых картин» Г. Гейне (1797–1856).

С. 89. ...магад — ивр. сокращение от mefaked gdud, командир батальона.

С. 89. ...гер. — В раввиническом иудаизме нееврей, перешедший в иудаизм (ger tsedek) либо живущий в стране Израиля (ger toshav).

С. 89. ...Натании. — Точнее, Нетания, крупный город-курорт на средиземноморском побережье Израиля в 30 км севернее Тель-Авива.

С. 90. ...*клятва Геродота*. — Контаминация медицинской «клятвы Гиппократата» с именем древнегреческого историка Геродота (ок. 484 до н.э. — ок. 425 до н.э.).

С. 90. *Западно-восточный диван*... — Сборник лирических стихотворений (первое изд. 1819) И.-В. Гете (1749–1832), вдохновленных персидской поэзией.

С. 90. ...*чек-поста*. — Здесь: блокпост, контрольно-пропускной пункт.

С. 91. В *этом христианнейшем*... — Отсылка к «Поэме конца» (1924) М. И. Цветаевой (1892–1941): «В сем христианнейшем из миров / Поэты — жида!»

С. 91. ...*друзы* — этноконфессиональная группа, представители которой живут в Ливане, Сирии, Израиле, Иордании, а также в рассеянии, и практикуют собственную религию (изначально ответвление исмаилизма).

С. 91. ...*марониты* — последователи маронитской католической церкви; большая часть маронитских общин находится в Ливане, Сирии и на Кипре.

С. 91. ...«*Труп посадишь*...» — Цит. из цикла «Война в саду», вошедшего в кн. «Стихотворения Михаила Генделева» (1984).

С. 91. ...*акаэмом* — т. е. АКМ, 7,62-мм модернизированный автомат Калашникова.

С. 93. ...*майора Хадада* — т. е. майора ливанской армии С. Хадада (1936–1984), основателя христианской и произраильской «Армии Южного Ливана» (1980–2000).

С. 93. ...*куфие*. — Куфия — традиционная часть мужской одежды в мусульманских странах, головной платок, часто носится с черным обручем.

С. 93. ...*меркавы*. — «Меркава» — букв. «колесница» (*ивр.* Меркавах), серия основных боевых танков израильской армии; состоит на вооружении с 1979 г.

С. 94. ...*Михаила Берлиоза*. — Речь идет о персонаже романа М. А. Булгакова (1891–1940) «Мастер и Маргарита» (первое изд. 1966), попавшем под трамвай и потерявшем голову во исполнение пророчества Сатаны-Воланда.

С. 94. ...*Атланта в атланта окципитальном сочленении*. — Атлант — первый шейный позвонок, соединенный с затылочной костью черепа подвижным суставом (атланта-окципитальным сочленением).

С. 95. ...*склерами*. — Склера — белковая оболочка, наружная плотная оболочка глаза.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

С. 96. ...*цугцванг* — положение в шахматах и шашках и шахматах, при котором любой ход ухудшает позицию игрока (от нем. *Zugzwang*, «принуждение к ходу»).

С. 96. ...*райт* — верно, правильно (*англ.* right).

С. 97. ...*от Айги до британских морей*. — Г. Н. Айги (1934–2006) — выдающийся современный русский поэт-авангардист, чуваш по национальности. Пародируются строки «Ведь от тайги до британских морей / Красная Армия всех сильнее» из так наз. «Марша Красной Армии» (1920) С. Я. Покрасса (1897–1939) на слова П. Г. Горинштейна (1895–1961).

С. 97. ...«*Моцарт на старенькой...*» — искаж. цит. из «Песенки о Моцарте» Б. Ш. Окуджавы.

## КОММЕНТАРИИ

### ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

С. 99. ...*Трошин*. — В. К. Трошин (1926–2008), советский и российский певец, актер.

С. 99. ...«*А во-круг-ни-людей...*» — искаж. цит. из песни «Ночной разговор» (1963) М. Г. Фрадкина (1914–1990) на слова В. Я. Лазарева (р. 1936).

### ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

С. 101. ...*в парадайзе* — в раю (от *англ.* *paradise*).

С. 103. ...*бар мицва* — букв. «сын заповеди» (*bar-mitzvah*, *ивр.*), достижение мальчиком религиозного совершеннолетия (13 лет) и соответствующая праздничная церемония. В Израиле широко отмечается также в нерелигиозных семьях.

С. 103. ...*Монте-Верди*. — т. е. Бейт-Мири, арабский городок в горах над Бейрутом.

С. 104. ...*беседер* — здесь: все хорошо, все в порядке (*ивр.*).

С. 104. ...*йеменит* — здесь: еврей, относящийся к выходцам из Йемена или их потомкам.

С. 104. ...*арабуши*. — Арабуш — *ивр.* сленговое презрительное наименование арабов.

С. 105. ...*пардеса*. — Пардес — плантация цитрусовых (*ивр.*).

С. 106. ...*битахонщикам («секьюрити»)*. — «Битахонщик» — иммигрантское словечко, означающее представителей сил безопасности (*ивр.* *битахон*, *англ.* *security*).

С. 106. ...*халуцианское*. — От *ивр.* «халуц» — пионер освоения страны, употребляется обычно в отношении ранних волн иммиграции.

С. 107. ...*Тверию*. — Тверия, также Тивериада — древний город на побережье Тивериадского озера (ивр. Кинерет) на северо-востоке Израиля.

С. 107. ...*Анри Волохонского*. — См. примеч. к гл. 15.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

С. 108. ...*брекфаст* — завтрак (англ. breakfast).

С. 109. ...«*Северное сияние*» — советское изобретение, коктейль из водки с шампанским.

С. 109. ...*эхолалия* — автоматическое повторение чужих слов, встречается у детей (как этап развития речи) и психических больных.

С. 110. ...*Масадой*. — Масада — древняя крепость у побережья Мертвого моря, где в 72–73 гг. н. э. восставшие против римлян иудеи-сикарии долгое время выдерживали осаду; когда римляне построили осадный вал и пробили брешь в крепостной стене, 960 защитников крепости покончили с собой.

С. 110. ...*неформальное общество «Memory»*. — Намек на русское националистическое и антисемитское общество «Память», действовавшее в 1980-е гг.; к концу десятилетия раздробилось на несколько групп. Memory — память (англ.).

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

С. 111. ...«*shweps*»... «*kinly*» — искаж. названия прохладительных напитков Schwepes, Kinley.

С. 112. ...*Остров Зари Багровой* — цит. из песни А. Пахмутовой (р. 1929) «Куба — любовь моя» (1962) на слова Н. Добронравова и С. Гребенникова.

## КОММЕНТАРИИ

С. 112. ...*Слиха* — простите, извините (*ивр.*).

С. 113. ...*Ка... Ба* — в древнеегипетских верованиях компоненты души человека, соотв. своего рода астральный двойник души и воплощение глубинной жизненной силы.

С. 114. ...*Silentium...* и *молчи*. — *Silentium* — молчание (*лат.*). Отсылка к одноименному стих. (нач. 1830-х) Ф. И. Тютчева (1803–1873), заканчивающемуся словами «и молчи!...».

С. 114. ...*синтагме*. — Синтагма — последовательность языковых элементов в отношении определяющее-определяемое, отрезок речевой цепи (от греч. *syntagma*, букв. «соединенное вместе»).

С. 115. ...*купец Калашников*. — Герой поэмы М. Ю. Лермонтова (1814–1841) «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (1837).

С. 115. ...*Медина́т Исраэль* — Государство Израиль (*ивр.*).

С. 117. ...*аид* — еврей (от *идиш.* *уид*).

С. 117. ...*Шалом-ахшав* — «Мир сейчас» (*ивр.*). Израильская неправительственная организация, выступающая за создание палестинского государства и широкие территориальные уступки; возникла в 1978 г. и окончательно оформилась в 1982 г. во время войны в Ливане.

## КНИГА ПЯТАЯ

### Глава двадцать четвертая

С. 119. ...«*форин*» — иностранец (жарг. от *англ.* *foreign*).

С. 119. ...*Афродитой площадной (Венерою Лупаной)*. — Площадная или народная Афродита (Афродита Пандемос), по Платону, воплощает изменную, чувственную любовь в противоположность небесной Афродите Урании. Лупана — авторское от лат. *lupa*, волчица, в просторечии блудница, проститутка.

С. 120. ...*неправильный дольник... спондеями* — несуществующий стихотворный размер.

С. 120. ...*Бизе-Щедрин*. — Т. е. одноактный балет «Кармен-сюита» (1967) на музыку Ж. Бизе (1838–1875) в оркестровке Р. К. Щедрина (р. 1932).

С. 120. ...*«Ты, Россия, как конь... фыркая»*. — Здесь и далее цит. из романа А. Белого (1880–1934) «Петербург» (первое изд. 1913–1914).

С. 122. *Шалом...* — здесь: будьте здоровы, до свидания (букв. «мир», ивр.).

С. 123. ...*Мазал тов* — поздравляю (ивр.).

С. 124. ...*Икскьюз ми* — искаж. транскрипция англ. «простите», *excuse me*.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

С. 124. *Обводном канале... зимней канавке*. — Обводный канал — самый крупный канал в Петербурге между рр. Нева и Екатерингофка; Зимняя канавка — канал у Зимнего дворца в Петербурге.

С. 125. ...*ингерманландском*. — Ингерманландия — историческая и этнокультурная область на северо-востоке современной России, расположенная между Финским заливом, р. Нарвой, Чудским и Ладожским озерами.

С. 125. ...*мембрана тимпаникус*. — Точнее, *membrana tympani* (лат.), барабанная перепонка — тимпаническая мембрана, отделяющая внутреннее окончание наружного слухового прохода от среднего уха.

С. 126. ...*вокс попули* — глас народа (лат. *vox populi*).

С. 126. ...*орфики... орфоэпики*. — Обыгрывается название представителей древнегреческого мистического учения (орфизма) и термин орфоэпия (совокупность нормативных правил устной речи).

С. 127. ...*Белова*. — Речь идет о советско-российском писателе-«деревенщике» В. И. Белове (р. 1932), лауреате Государственной премии СССР (1981).

С. 129. ...*Црифине*. — Црифин — разговорное название базы им. И. Ядина, или базы 782, большой военной базы в центральном Израиле, включающей ряд тренировочных лагерей и крупнейшую военную тюрьму.

С. 129. ...*Шармута* — букв. «старое тряпье» (араб.), в просторечии проститутка. Это ругательство широко используется в современном иврите.

С. 129. ...*Шми* — мое имя, меня зовут (ивр.).

С. 129. ...*Твельв о'клок* — двенадцать часов (англ. *twelve o'clock*).

С. 130. ...*бриху*. — Бриха — бассейн, водоем (ивр.).

С. 132. ...«*Я слово позабыл...*», — Здесь и далее цит. из стих. О. Э. Мандельштама «Ласточка» (1920).

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

С. 133. ...«*спой нам, Мэри*» — искаж. цит. из трагедии А. С. Пушкина «Пир во время чумы» (1830).

С. 133. ...*Кушнер*. — См. примеч. к гл. 15.

С. 133. ...«Поэма экстаза»... *Танеев*. — «Поэма экстаза» (1907) — симфоническая поэма А. Н. Скрябина (1871–1915); С. И. Танеев (1856–1915) — русский композитор, пианист, педагог, наставник Скрябина в теории музыки.

С. 138. ...*Кен, едидай... б'арцейну*. — «Кстати, друзья, что новенького на родине?» (*ивр.*).

С. 140. ...*Абу-Джияс* — вымышленное имя. В середине апреля 1988 г. в Тунисе был убит Халиль аль-Вазир по кличке «Абу-Джихад» (1935–1988), руководитель военного крыла палестинской организации «Фатх»; позднее пресса Израиля связала эту операцию с израильским спецназом, однако официально Израиль не признает своей причастности к убийству.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

С. 140. ...«*Невский проспект обладает...*» — Здесь и далее цит. из романа А. Белого (1880–1934) «Петербург» (первое изд. 1913–1914).

С. 141. ...«*мы с детства угол рисовал*». — Обыгрываются строки из стих. «Гроза» П. Д. Когана (1918–1942): «Я с детства не любил овал, / Я с детства угол рисовал».

С. 141. ...*Бродского... в «Уединенном»*. — Под заглавием «Уединенное (Дневник писателя)» автор в свое время объединил ряд эпиграмм и юмористических двустистиший, в том числе непристойную эпиграмму в адрес И. А. Бродского.

С. 141. ...«*Когда б вы знали...*» — Следует монтаж цитат из различных стих. А. А. Ахматовой (1889–1966) и Б. Л. Пастернака (1890–1960), лауреа-

та Нобелевской премии по литературе (1958), с намеками на дачу последнего в пос. Переделкино под Москвой.

С. 142. ...«*О, Русь! Жена моя*»... на Васильевский. — Монтаж искаж. цитат из цикла А. А. Блока «На поле Куликовом» (1908) и «Стансов» И. А. Бродского (1962).

С. 143. ...*Годдем ...Икскьюзми*. — Черт побери! ...Где туалет? ...Закрыто? Дерьмо! ...Простите меня (искаж. англ.).

С. 144. ...*О, эти, под карельскую осину*... — Следующий далее стихотворный текст построен на монтаже имен советских писателей и поэтов с названиями ряда литературных произведений советского («Хулио Хуренито», «Падение Парижа», «Тринадцать трубок» и «Люди, годы, жизнь» И. Г. Эренбурга, «Чук и Гек» А. П. Гайдара) и русского классического («Хорь и Калиныч» И. С. Тургенева) периодов; все вместе призвано отобразить библиотеку и круг чтения интеллигентных советских евреев.

С. 144. ...*генизы*. — Гениза (ивр.) — в иудаизме место хранения пришедших в негодность свитков Торы, священных книг и их фрагментов, содержащих имена Бога, а также ритуальных предметов, уничтожение которых запрещено религиозными нормами; в переносном смысле — хранилище.

С. 144. ...*Эли... азавтану*. — Парафраз Пс. 21:2 («Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня?») и слов Иисуса на кресте (Мф. 27:46, Мк. 15:34) в виде «оставил нас».

С. 146. ...*ани мицтаэр, кводо* — «я сожалею, достоинственный» (ивр.).

С. 146. ...*Фейхтвангер... не открыл.* — «Иудейская война» (1932) — первый роман из трилогии об иудейско-римском историке И. Флавии немецкого еврейского писателя Л. Фейхтвангера (1884–1958). Вопреки утверждению автора, в его произв. встречаются реминисценции из Фейхтвангера.

С. 146. *Только детские книги...* — цит. из стих. О. Э. Мандельштама «Только детские книги читать...» (1908).

С. 147. ...*Я терпелив... знаки.* — Обыгрывается стих. В. Инбер (1890–1972) «Девушка из Нагасаки», положенное на музыку П. Марселем (П. А. Русаковым, 1908–1973).

С. 147. ...*Женя Вензель.* — Е. П. Вензель (р. 1947), петербургский поэт, прозаик, художник.

С. 148. ...*рабанута.* — Рабанут — раввинат (*ивр.*), здесь — религиозный суд, занимающийся в Израиле, в частности, бракоразводными процессами.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

С. 151. ...*Пляс де л'Этуаль.* — Пл. Этуаль (Звезды, официально пл. Шарля де Голля) в западной части Парижа.

С. 153. ...*Праскевья... Капниста.* — Видимо, намек на Прасковью Ковалеву-Жемчугову (1768–1803), крепостную актрису, наложницу и позднее жену графа Н. П. Шереметева (1751–1809). Граф (позднее светлейший князь) А. А. Безбородко (1747–1799) — виднейший государственный деятель, при Павле I канцлер Российской империи; Капнист —

В. В. Капнист (1758–1823) — русский поэт и драматург.

С. 154. ...*Барабан!* (На мотив «Снегиря»). — Отсылка к стих. И. А. Бродского «На смерть Жукова» (1974): «Бей, барабан, и военная флейта, / Громко свисти на манер снегиря».

С. 155. ...*артерии каротикус*. — Точнее, *arteria carotis*, сонной артерии.

### ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

С. 161. ...*Ма зе... работай*. — «Что это значит — “туалет закрыт”? Что случилось, господа?» (искаж. ивр.).

С. 161. ...*рехов Алленби*. — Ул. Алленби (ивр.), оживленная улица в Тель-Авиве.

С. 161. ...*Таханы Мерказит*. — Тахана мерказит — центральная станция (ивр.). Имеется в виду старая Центральная автобусная станция в Тель-Авиве.

С. 161. ...*марокканец* — еврей марокканского происхождения (на сленге русскоязычных иммигрантов в Израиле).

С. 161. ...«*Шерутим сгурим. Такала*». — «Туалет закрыт. Авария» (искаж. ивр.).

С. 161. ...*кулям аскеназим... бехайй* — «Все ашкеназы придурки, чтоб я так жил» (искаж. ивр. с «псевдо-марокканским» прононсом).

С. 161. «*Узи*» — известный пистолет-пулемет израильского производства, выпускается в различных модификациях с 1954 г.

С. 161. «*Sortie*» — выход (франц.).

С. 162. ...«*кальву*» — Т. е. кальвадос (разг. франц.).

С. 163. ...«*крэзи англизи*» — здесь: чокнутый англичанин (имитация безграмотного англ.).

С. 163. ...«кфира» — ивр. Кфир («Львенок»), серия израильских многоцелевых истребителей, выпуск которых начался в 1975 г.

С. 163. ...Писарро... мекум. — Монтаж имен французских художников и писателей, античных философов и героев в сопровождении обрывков лат. цитат («Мыслю — значит существую», «Идущие на смерть приветствуют тебя», «Так проходит мирская слава», «Все свое ношу с собой»).

## ТОМ ВТОРОЙ ПИСЬМА НЕРУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА

### ЧЕЛОВЕК И (ЗА) ОКОН

Название первой главки этого текста условно и дано составителем.

С. 168. ...Аглая. — В фельетонах и очерках М. Генделева — постоянное шуточное обозначение той или иной спутницы жизни.

С. 168. Шалом, адон Генделев... бокер тов. — Здравствуйте, господин Генделев, доброе утро (ивр.).

С. 168. Анахну, однако, кан... — Мы, однако, здесь (ивр., рус.). Обыгрывается название израильского песенно-танцевального ансамбля «Анахну кан» («Мы здесь»), основанного в 1971 г. репатриировавшимися в Израиль из б. СССР участниками еврейской художественной самодеятельности.

С. 171. *Тов...* — хорошо, ладно (*ивр.*).

С. 171. ...*джуким* — тараканы, жуки (разг. *ивр.*).

С. 171. ...*ха-Хоттабыч ха-закен* — Старик Хоттабыч (*рус., ивр.*).

С. 172. ...*Мей ай ком ин?* — Могу я войти? (искаж. *англ.*).

С. 176. ...«*Осем*» — известная израильская фирма по производству макаронных изделий.

С. 178. ...«*честной гибелью всерьез*» — искаж. цит. из стих. Б. Л. Пастернака «О, знал бы я, что так бывает» (1931): «Но старость — это Рим, который / Взамен турусов и колес / Не читки требует с актера, / А полной гибели всерьез».

С. 180. ...*во рву несокошенном... молодую.* — Обыгрывается стих. А. А. Блока «На железной дороге» (1910).

С. 180. ...*Гарика Лонского.* — Имеется в виду И. А. Лонский (р. 1944), реставратор, каскадер, декоратор, режиссер, ювелир, человек богемы и близкий иерусалимский друг автора.

С. 182. ...*за зеленую черту...* — Зеленая черта — демаркационная линия между Израилем и соседними странами по соглашениям о прекращении огня 1949 г., которыми официально завершилась арабо-израильская война 1948 г. (Война за независимость).

С. 185. ...*прорыв линии Бар-Лева.* — Двухполосная линия укреплений на Синайском полуострове, созданная после Шестидневной войны под руководством тогдашнего начальника израильского генштаба Х. Бар-Лева (1924–1994), была быстро прорвана египтянами во время войны Судного дня (1973).

С. 185. ...*тахрихим... гадкес*. — Соответственно погребальные покровы (ивр.) и кальсоны (разг. ивр.).

С. 186. ...*типешэсрэ*. — Разг. ивр. неологизм, означающий нечто вроде «глупый тинейджерский возраст».

С. 191. ...«*Мемуаров бывшего бабника*»... — «Мемуары бывшего бабника» — цикл статей и фельетонов автора, печатавшийся в «Окнах» (литературно-публицистическом приложении к израильской русскоязычной газ. «Вести») в 1994 г.

С. 194. ...*систола... диастола*. — Систола и диастола — стадии сердечного цикла (серии процессов во время одного сокращения и расслабления сердца).

С. 195. ...*галутной*. — От «галут» — изгнание, рассеяние, диаспора (ивр.).

С. 196. ...*Черный передел*. — Обыгрывается название тайной организации народовольцев конца 1870-х гг.

С. 196. ...*Хас ве халила*. — «Господи, спаси», «Не приведи Бог» (ивр.).

С. 198. ...*сайнс-фикшн* — научная фантастика (англ.).

С. 200. ...*штаим* — два, во-вторых (ивр.).

С. 203. ...*Иерусалимского литературного клуба*. — Иерусалимский литературный клуб, объединивший русскоязычных литераторов, журналистов и филологов, был учрежден весной 1991 г. и просуществовал до середины 1990-х гг.

С. 203. ...«*Подвиг разведчика*» — художественный фильм (1947) режиссера Б. В. Барнета (1902–1965).

С. 204. ...*лестница Бодисатвы, ведущая в клозет ЦДЛ*. — В указанный клозет московского Центрального дома литераторов вела винтовая деревянная

лестница, расположенная в главном зале ресторана.

С. 207. ...«Ха-Масеха ха-шхора» — «Черная маска» (ивр.).

С. 208. ...зуг — пара (ивр.).

ВОЛЬНООПРЕДЕЛЯЮЩЕЕСЯ

Публикуется с некоторыми сокращениями

С. 210. ...дамурские. — Дамур — ливанский прибрежный город в 24 км к югу от Бейрута.

С. 213. ...сады железных апельсинов — автоцитата из стих. «Ораниенбаум», вошедшего в кн. «В садах Аллаха» (1997).

С. 216. ...Монте-Верди. — См. примеч. к гл. 21 1-го т.

С. 217. ...«Медуницы и осы...» — цит. из стих. О. Э. Мандельштама «Сестры — тяжесть и нежность — одинаковы ваши приметы» (1920).

С. 217. ...«рио». — На израильском армейском сленге так именовались 5-тонные грузовики американской компании АМС, которые собирались в Израиле и состояли на вооружении со второй половины 1970-х гг. (по аналогии с грузовиками известной американской фирмы REO).

С. 218. ...кидбеке. — Кидбек — большой вещевой мешок в израильской армии (ивр. сленг).

С. 218. Рэмбо. — Героический ветеран Вьетнама, герой книги Д. Морелла (р. 1943) «Первая кровь» (1972) и серии кинобоевиков 1982–2008 гг., в которых его роль исполнял американский актер и режиссер С. Сталлоне (р. 1946).

С. 219. *Брали его почему-то танкисты, дивизия «эсдер». Чернокипешники.* — В рамках т. н. программы «эсдер», рассчитанной на пять лет, религиозные юноши чередуют периоды службы в израильской армии и обучения в религиозных семинариях. В 1970–80-х гг. многие участники программы служили в мотопехоте и, видимо, именно привезенные на танках части мотопехоты и были задействованы во взятии бейрутского порта. Солдаты в частях «эсдер» носят вязаные или черные кипы (ермолки).

С. 220. ...*Кейсарии* — Также Кесария, город на средиземноморском побережье Израйля.

С. 221. ...*Хавацелет* — песчаная лилия (ивр.).

С. 221. ...«*руси*» — русский (ивр.).

С. 222. ...*Нацрат-Элита*. — Нацрат-Элит, или Верхний Назарет, — еврейский город на возвышенности над преимущественно арабским Назаретом, с 1970-х гг. место проживания многих новых иммигрантов.

С. 223. ...*из глубинки... в громадной больнице.* — По приезде в Израиль автор работал анестезиологом в больнице «Сорока» в Беэр-Шеве.

С. 224. ...«*Махане-Йегуда*» до «*Шнеллера*» — «Махане-Йегуда» — центральный рынок Иерусалима. «Шнеллером» в просторечии именовался бывший окружной военный штаб в Иерусалиме, расположенный в комплексе зданий «сирийского дома сирот», построенного во второй пол. XIX в. немецким миссионером И. Шнеллером (1820–1896).

С. 225. ...*шеш-беш* — нарды (ивр.).

Публикуется с небольшими сокращениями, касающимися рассуждений автора об актуальных политических событиях Израиля.

С. 233. ...*фейворит хироу* (из литричи, камуван) — любимый герой (из литературы, понятно) (искаж. англ., рус., ивр.).

С. 233. ...*Елену сбондили... по губам.* — Обыгрываются строки О. Э. Мандельштама из стих. «Я скажу тебе с последней прямокой...» (1931): «Греки сбондили Елену / По волнам, / Ну, а мне — соленой пеной / По губам».

С. 234. ...*бехайяй* — чтоб я так жил (разг. ивр.).

С. 234. ...*Тахана такая Мерказит* — т. е. бывшая Центральная автобусная станция в Тель-Авиве. Этот район, где располагалось множество лавочек, забегаловок и т. п., стал в свое время символом «левантийских» черт культуры и быта Израиля.

С. 235. ...*фризы Гигантомахии из Британского музея.* — На самом деле в Британском музее хранится часть фризов Парфенона, тогда как «Гигантомахия» (большой фриз Пергамского алтаря) находится в Берлине.

С. 240. ...*Яффо.* — Также Яффа, один из древнейших городов мира (по археологическим данным, был заселен за 7500 лет до наступления новой эры) и главных портов древнего Израиля; с 1950 г. объединен с соседним Тель-Авивом в единый город Тель-Авив-Яффо.

С. 241. ...*Оттона...западным миром...* — Греческий король Оттон I (1815–1867), представитель ба-

варской династии, правивший в 1833–1862 гг., утратил престол в результате революции 1862 г.

С. 242. ...*смоль* — слева (искаж. *ивр.*).

С. 244. ...*Катамон*. — Здесь имеется в виду конгломерат жилых районов в Иерусалиме, в свое время густо населенный бедными выходцами из стран Северной Африки.

С. 244 ...*пусть отсохнет...* *Иерусалим*. — Пс. 136/137:5: «Если я забуду тебя, Иерусалим, — забудь меня, десница моя».

С. 245. ...*Кукиным*. — Имеется в виду Ю. А. Кукин (1932–2011), советский и российский поэт и бард.

С. 246. ...«из тучи сознания блещет молния». — Иискаж. цит. из предисловия П. Б. Шелли (1792–1822) к лирической драме «Освобожденный Прометей» (1819).

С. 247. ...*А что любовь? Разряженная...* — Цитируется не Шелли, как пишет ниже автор, а стихотворение Д. Китса (1795–1821) «Современная любовь».

С. 248. ...*Гнедич*. — Т. Г. Гнедич (1907–1976), поэтесса, переводчица и наставница многих ленинградских переводчиков.

С. 250. ...*повесил Гаврила Романыч...* *из любопытства...* — История о двух смутьянах, повешенных Г. Р. Державиным (1743–1816) во время пугачевского восстания, сохранилась в записи А. С. Пушкина (со слов сен. Баранова). Пушкин добавил: «Дмитриев уверял, что Державин повесил их из поэтического любопытства».

С. 250. ...*рапорт офицеров...* *жестокость*. — Сведения о «рапорте офицеров-сослуживцев», якобы жаловавшихся на жестокость М. Ю. Лермонтова, являются апокрифом.

С. 251...«Когда на смерть идут, поют»... «Ты идешь на поле битвы». — Имеются в виду соответственно стих. С. П. Гудзенко (1922–1953) «Перед атакой» (1942) и «Романс» (1832) М. Ю. Лермонтова.

С. 253. ...мой соавтор О. Шков. — О. Шмаков (р. 1965), поэт и бард, в 1990-х гг. жил в Израиле, автор ряда песен на стихи М. Генделева.

С. 253. ...Л-ский. — И. А. Лонский (см. выше).

С. 254. ...бузуки, ставраки и папа Сатырос. — Обыгрываются «Контрабандисты» (1927) Э. Г. Багрицкого (1895–1934): «Янаки, Ставраки, / Папа Сатырос».

С. 256. Мазалтов! Ю а лаки... — Поздравляю! Тебе везет (ивр., искаж. англ.).

С. 267. ...премию им. Цабана. — Израильская лит. премия им. Я. Цабана для пишущих на иностранных языках.

С. 257. ...Х. Гури. — Хаим Гури (р. 1923), виднейший израильский поэт, журналист, публицист, режиссер-документалист, участник арабо-израильских войн 1948, 1967 и 1973 гг., друг автора.

С. 257. Возвратясь он обнаружил... — Это стих. под назв. «Самоволка: из Хаима Гури» вошло в кн. М. Генделева «Царь» (1997).

С. 261. ...Дерпфельд. — В. Дерпфельд (1853–1940), известный немецкий архитектор и археолог.

С. 262. ...Левкада. — Точнее, Лефкада, греческий остров в Ионическом море.

С. 262. ...кабланами. — От ивр. каблан, строительный подрядчик.

С. 262. ...«Гивати» — пехотная бригада израильской армии, с 1999 г. относится к Южному военному округу.

С. 263. ...«*Странствия Одиссея*» — одно из прокатных названий фильма М. Камерини (1895–1891) «Улисс» с К. Дугласом и С. Мангано в главных ролях.

С. 265. ...«*Общество чистых тарелок*» — кулинарная колонка, которую автор вел в первой пол. 1990-х гг. в газ. «Вести». Материалы ее собраны в кн. М. Генделева «Книга о вкусной и нездоровой пище, или Еда русских в Израиле» (2006).

С. 266. ...*Ярхо*. — В. Н. Ярхо (1920–2003) — советский и российский филолог-классик, переводчик, автор многочисленных книг и научных работ.

С. 269. ...*Лимор Ливнат*. — израильская политическая деятельница (р. 1950), депутат парламента от правоцентристской партии «Ликуд», занимала ряд министерских постов, с 2009 г. министр культуры и спорта.

С. 271. *Мой Телемак... окончена*. — Цит. из стих. И. А. Бродского «Одиссей Телемаку» (1972).

С. 273. ...«*Ла иша*» — «Для женщины» (ивр.), израильский женский еженедельник, издающийся с 1947 г.

С. 277. ...*Бофор* — разрушенный замок крестоносцев (XII в.) на юге Ливана.

С. 279. ...*кантины*. — Кантина — лавочка на военной базе (ивр. сленг).

С. 280. ...*В 1714 году она была взята. Турками*. — Турки захватили крепость Паламиди в 1715 г., пользуясь малочисленностью гарнизона.

С. 282. ...*экснострисов* — от лат. *ex nostris*, «из наших».

С. 283. ...*гвиротай ве работай* — дамы и господа (ивр.).

С. 283. ...*мени хеппи ретернс* — искаж. англ. *mapy happy returns* («Поздравляю с днем рождения, желаю долгих лет жизни»).

С. 283. ...*новый Ближний Восток в пересовской...* — Имеется в виду утопическая картина мирного, демократического и экономически процветающего Ближнего Востока, выдвинутая в кн. «Новый Ближний Восток» (1993) израильского государственного деятеля, впоследствии президента страны Ш. Переса (р. 1923).

С. 285. ...*гамадриады*. — В греческой мифологии разновидность нимф-дриаид; гамадриады были связаны с определенным деревом и умирали вместе с ним.

С. 285. ...*сигноне* — от. ивр. «сигнон», стиль.

С. 286. ...*Рош-Пины*. — Рош-Пина — небольшой городок на севере Израиля неподалеку от Цфата (Сафеда).

С. 287. ...*зайчиков в Баниасе...слонов*. — Имеются в виду похожие на кроликов скалистые даманы, которые действительно являются ближайшими родственниками слонов.

С. 287. *Арцейну, моледет, Эрец исраэль шлема! Билади!* — Наша страна, родина, цельная земля Израиля! (ивр.). Мое отечество! (араб.).

С. 287. ...*Хевроне*. — Хеврон — древнейший город на завоеванных Израилем в 1967 г. территориях, в наст. время контролируется Палестинской автономией.

С. 288. ...*Эль-Кудсу*. — Точнее, аль-Кудс, арабское название Иерусалима, букв. «святое место», «святая обитель».

С. 288. *Мы построить крепость воздвигнем план...* — Это стих. (под назв. «Армянская баллада») вошло в кн. М. Генделева «В садах Аллаха» (1997).

С. 289. ...*Хермон* — горный массив на границе Сирии и Ливана, чьи южные склоны переходят в Голанские высоты.

С. 290. ...*шлема* — цельная, полная (ивр.). Намек на сторонников «цельного Израиля», включающего Голаны и территории Палестинской автономии.

С. 290. ...*Мубарака*. — Имеется в виду Х. Мубарак (р. 1928), президент Египта в 1981–2011 гг.

С. 291. ...*фашл*. — Фашла — ошибка, неудача, провал, облом (араб., ивр. сленг).

С. 291. ...«*Исраэль баалия*» — израильская политическая партия выходцев из б. СССР, образованная в преддверии парламентских выборов 1996 г. и добившаяся немалого успеха. После ряда внутрипартийных расколов и фактического провала на выборах 2003 г. объединилась в том же году с партией Ликуд.

С. 291. ...«*аколь Тора*» ...«*аколь беседер*» — «Все есть Тора (Пятикнижие)», «все хорошо» (ивр.).

С. 292. ... *бе хуль* — за границей (разг. ивр.).

С. 293. ...«*Оцаа ле-поаль*» — служба судебных исполнителей (ивр.).

С. 294. ...*банка «Хапоалим»*. — «Хапоалим» («Рабочий банк») — крупнейший банк Израиля, основанный федерацией профсоюзов в 1921 г.; в 1983–1996 гг. после национализации находился в руках правительства.

С. 294. ...*В Машбире*. — Здесь имеется в виду крупный универсальный магазин в Иерусалиме, часть общеизраильской сети Hamashbir Letzarkhan.

С. 296. ...*Хи из лаки!* — Он счастливчик! (англ.).

## СОДЕРЖАНИЕ

Том первый

### ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Предуведомление .....	11
Книга первая	
Сказание о Шалве-пилигриме .....	14
Книга вторая	
Сыnenька .....	30
Книга третья	
Чудовища из завизжавшей прорвы .....	46
Книга четвертая	
Госпитальеры .....	82
Книга пятая	
Петербург Белова .....	119

Том второй

### ПИСЬМА НЕРУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Человек и (за) окон .....	167
Вольноопределяющееся .....	210
Новая Одиссея .....	232
<i>С. Шаргородский. Комментарии</i> .....	300



- Г34            **Генделев М.**  
                Великое [не]русское путешествие/ Михаил  
Генделев. — Москва: Книжники, 2014. —  
345 [7] с. — (Проза еврейской жизни)

ISBN 978-5-9953-0336-7 («Книжники»)

Книга выдающегося русско-израильского поэта Михаила Генделева — трагикомическое повествование о путешествии «нового израильянина» в Россию, наполненное эмоциональными и точными зарисовками богемной жизни Петербурга и Иерусалима, неповторимыми деталями давно ушедшего быта, тонким юмором и иронией. В книгу вошли также путевые очерки М. Генделева и проза о войне в Ливане, которую автор прошел военным врачом израильской армии. Примечания и комментарии составлены С. Шаргородским специально для данного издания.

УДК 821.161.1  
ББК 84(5Изр)

ПРОЗА ЕВРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ  
Михаил ГЕНДЕЛЕВ  
Великое [не]русское путешествие

Корректор Н. Сергеева

Подписано в печать 24.06.14. Формат 70 x 100/32.  
Усл. печ. л. 14,3. Тираж 1000 экз.  
Заказ № 7113.

Издательство «Книжники»  
127055, Москва, ул. Образцова, д. 19, стр. 9  
Тел. (495) 663-21-06; 710-88-03  
E-mail: info@knizhniki.ru  
www.knizhniki.ru

Отпечатано с готовых файлов заказчика  
в ОАО «Первая Образцовая типография»,  
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»  
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14  
OSR Давид Типневский, август 2019 г., Хайфа

В серии

## ПРОЗА ЕВРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ

ВЫШЛИ:

- Шмуэль-Йосеф АГНОН. Вчера-позавчера  
Шмуэль-Йосеф АГНОН. До сих пор  
Шмуэль-Йосеф АГНОН. Под знаком Рыб  
Шмуэль-Йосеф АГНОН. Рассказы о Бааль-Шем-Тове  
Аарон АППЕЛЬФЕЛЬД. Катерина  
Шолом АШ. Америка  
Шолом АШ. За веру отцов  
Джорджо БАССАНИ. В стенах города  
Джорджо БАССАНИ. Сад Финци-Контини  
Дэвид БЕЗМОЗГИС. Наташа  
Юрек БЕКЕР. Дети Бронштейна  
Юрек БЕКЕР. Яков-лжец  
БЕЛАЯ ШЛЯПА БЛЯЙШИЦА. Сборник рассказов  
Сол БЕЛЛОУ. Серебряное блюдо  
Давид БЕРГЕЛЬСОН. Отступление  
Филипп БЛАСБАНД. Книга Рабиновичей  
Робер БОБЕР. Что слышно насчет войны?  
Мириам БОДУЭН. Хадасса  
Е. М. БРОНЕР. Рассказы с того света  
В ОБЛУПЛЕННУЮ ЭПОХУ. Сборник рассказов  
Эли ВИЗЕЛЬ. Завещание убитого еврейского поэта  
Юлия ВИНЕР. Место для жизни  
Нина ВОРОНЕЛЬ. В тисках — между Юнгом и Фрейдом  
Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. Бердичев  
Хаим ГРАДЕ. Немой миньян  
И. ГРЕКОВА. Свежо предание  
Давид ГРОССМАН. См. статью «Любовь»  
Жан-Клод ГРЮМБЕР. Дрейфус... и другие пьесы  
Аллегра ГУДМАН. Семья Марковиц.  
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ЛОНДОНЕ. Рассказы английских писателей  
ДЕР НИСТЕР. Семья Машбер  
Дэн ДЖЕЙКОБСОН. Богобоязненный  
Вильгельм ДИХТЕР. Олух Царя Небесного  
Лиззи ДОРОН. Почему ты не пришла до войны?  
Джессика ДЮРЛАХЕР. Дочь  
Владимир ЖАБОТИНСКИЙ. Пятеро

Исаак Башевис ЗИНГЕР. Люблинский штукать  
Исаак Башевис ЗИНГЕР. Папин домашний суд  
Исаак Башевис ЗИНГЕР. Раб  
Исаак Башевис ЗИНГЕР. Раскаявшийся  
Исаак Башевис ЗИНГЕР. Сатана в Горае  
Исаак Башевис ЗИНГЕР. Семья Мускат  
Исаак Башевис ЗИНГЕР. Страсти  
Исроэл-Иешуа ЗИНГЕР. Семья Карновских  
Исроэл-Иешуа ЗИНГЕР. Станция Бахмач  
Исроэл-Иешуа ЗИНГЕР. Чужак  
А.-Б. ИЕГОШУА. Смерть и возвращение  
Юлии Рогасовой  
Вера ИНБЕР. Смерть луны  
Ханс КАЙЛЬСОН. Смерть моего врага  
Дина КАЛИНОВСКАЯ. О суббота!  
Феликс КАНДЕЛЬ. Может оно и так...  
Григорий КАНОВИЧ. Местечковый романс  
Григорий КАНОВИЧ. Очарование сатаны  
Аркан КАРИВ. Однажды в Бишкеке  
Даниэль КАЦ. Как мой прадедушка на лыжах  
прибежал в Финляндию  
Этгар КЕРЕТ. Когда умерли автобусы  
Имре КЕРТЕС. Без судьбы  
КИПАРИСЫ В СЕЗОН ЛИСТОПАДА. Рассказы  
израильских писателей  
Ханна КРАЛЬ. опередить Господа Бога  
Моисей КУЛЬБАК. Зелменяне  
Примо ЛЕВИ. Передышка  
Примо ЛЕВИ. Периодическая система  
Примо ЛЕВИ. Человек ли это  
Ирина ЛЕВИТЕС. Боричев Ток, 10  
Михаил ЛЕВИТИН. Еврейский бог в Париже  
Бернард МАЛАМУД. Бенефис  
Ицхокас МЕРАС. Ничья длится мгновение  
Израиль МЕТТЕР. Пятый угол  
Артур МИЛЛЕР. Фокус  
Сами МИХАЭЛЬ. Виктория  
МУЖСКАЯ СИЛА. Сборник рассказов  
Дэвид МЭМЕТ. Древняя религия  
Ирен НЕМИРОВСКИ. Давид Гольдер  
Элиза ОЖЕШКО. Миртала

Синтия ОЗИК. Путермессер и московская родственница  
Синтия ОЗИК. Шаль  
Иосиф ОПАТОШУ. В польских лесах  
Карой ПАП. Азарел  
Грейс ПЕЙЛИ. Мечты на мертвом языке  
ПО ЭТУ СТОРОНУ ИОРДАНА. Рассказы русских писателей, живущих в Израиле  
Цви ПРЕЙГЕРЗОН. Когда погаснет лампада  
Мордехай РИХЛЕР. Всадник с улицы Сент-Урбан  
Мордехай РИХЛЕР. Кто твой враг  
Мордехай РИХЛЕР. Улица  
Йозеф РОТ. Иов  
Филип РОТ. Прощай, Коламбус  
Габор Т. САНТО. Обратный билет  
Лора СЕГАЛ. У чужих людей  
Дан Витторио СЕГРЕ. Мемуары везучего еврея  
Далия СОФЕР. Сентябри Ширази  
Юлиан СТРЫЙКОВСКИЙ. Аустерия  
ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ БАСИ СОЛОМОНОВНЫ. Рассказы  
Говард ФАСТ. Торквемада  
Сирилл ФЛЕЙШМАН. Встречи у метро «Сен-Поль»  
Карла ФРИДМАН. Два чемодана воспоминаний  
Стефан ЦВЕЙГ. Погребенный светильник  
Меир ШАЛЕВ. В доме своем в пустыне...  
Меир ШАЛЕВ. Голубь и Мальчик  
Меир ШАЛЕВ. Дело было так  
Меир ШАЛЕВ. Как несколько дней...  
Меир ШАЛЕВ. Русский роман  
Меир ШАЛЕВ. Фонтанелла  
Меир ШАЛЕВ. Эсав  
Андре ШВАРЦ-БАРТ. Утренняя звезда  
Светлана ШЕНБРУНН. Пилюли счастья  
Сара ШИЛО. Гномы к нам на помощь не придут  
ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ. Касриловка  
ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ. Мальчик Мотл  
ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ. Тевье-молочник  
Бруно ШУЛЬЦ. Уцелевшее  
Анджей ЩИПЁРСКИЙ. Начало, или Прекрасная пани Зайденман  
Асар ЭППЕЛЬ. Сладкий воздух  
Лесли ЭПСТАЙН. Сан-Ремо-Драйв



**ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КНИЖНИКИ»**

Мировая еврейская литература

**Интернет-магазин издательства:**

[www.knizhniki.ru](http://www.knizhniki.ru)

**Постоянная экспозиция в издательстве:**

127055, Москва, ул. Образцова, 19/2

Тел. (495) 663-21-06

**Магазины еврейской книги**

**в Москве:**

Большая Бронная, 6, 1 этаж;  
2-й Вышеславцев пер., 5а, 3 этаж

**в Санкт-Петербурге:**

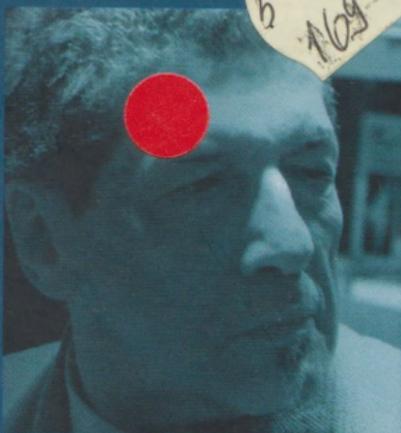
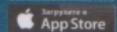
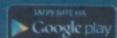
Лермонтовский пр., 2  
[sinagoga.spb@gmail.com](mailto:sinagoga.spb@gmail.com)  
Тел. (812) 713-81-86



СКАЧАЙ НОВОЕ  
ПРИЛОЖЕНИЕ

**Jkniga**

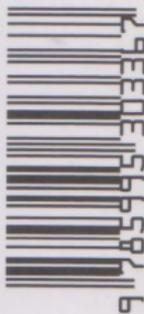
DOWNLOAD  
OUR NEW APP



**Ж**

(живопись)

Книга выдающегося русско-израильского поэта Михаила Генделева (1950–2009) — трагикомическое повествование о путешествии “нового израильтянина” в Россию, сочетающее язвительную иронию, точные и острые зарисовки богемной жизни Петербурга и Иерусалима, артистическое изящество изложения и неповторимые детали навсегда ушедшего быта. В книгу вошли также путевые очерки М. Генделева и проза о войне в Ливане, которую автор прошел военным врачом израильской армии.



проза еврейской жизни